

Анатолий Сорокин

Голубая орда

*Книга первая.
Воин без племени*

Анатолий Михайлович Сорокин

Голубая орда. Книга первая. Воин без племени

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21575588

ISBN 9785448328787

Аннотация

Книга первая – безумный 679 год, полный жестоких событий с кровавыми битвами, поэтической любви, предательства... Один за другим бесславно гибнут первые вожди тюркско-сибирского возмущения в Китае, отрубленные головы которых выставляются в Чаньане во Дворце Предков для устрашения других. ... Воин без племени – следующий третий нарождающийся вождь отважных кочевников. Тюркское имя его тутун Гудулу, вошедший в историю кочевого прошлого как хан Кутлуг, или по народному Счастличик.

Содержание

Воин без племени	6
Око судьбы	7
1. Утреннее происшествие	9
2. Знающий тайнства смерти	26
3. Тяжесть сомнений	42
4. Прощальный звон кубков	56
Глава первая. Дворцовые тайны Чаньани	63
1. Монах и забавы принца	63
2. В тронной зале империи	82
3. В подземелье	96
4. Казнь на рассвете	114
5. Долгое ожидание шамана	118
6. На маньчжурской дороге	125
7. Ветреная ночь	139
8. Схватка в пещере	152
9. Знак на ладони	162
10. Крепость и поселение	165
11. В старом склепе	180
12. Видение старого князя	188
13. Пристрастный допрос	206
Конец ознакомительного фрагмента.	209

Голубая орда
Книга первая.
Воин без племени
Анатолий Сорокин

© Анатолий Сорокин, 2016

ISBN 978-5-4483-2878-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Воин без племени

книга первая

Мир – неустанные перемены, все в нем случается и случаться должно, иначе он перестает ощущаться живым... Не знаю, как объяснить мой интерес к архаической теме, и надо ли, но знаю, что как бы старательно не описывалось и тщательно не исследовалось, что было когда-то и чего уже нет, прошлое навсегда таинственно, способно мгновенно ожечь любопытную душу... Однажды мне вдруг показалось, что в нашем скучном земном обиходе, разум снова просто перестал себя слышать – с ним подобное иногда происходит, – его, ставшим агрессивным,, воинствующим, трудней и трудней понимать, и рука сама по себе сняла с полки забытую книгу о прошлом – а раньше-то как? Она показалась холодной, чуждой, покоя не принесла, подобно другим, последовавшим за ней. Но древние хроники, льстивые эпитафии, самые невероятные легенды приоткрывали по-новому как-то, в свете живущего рядом, картины судеб далеких времен, потрясая невероятной жестокостью и насилием – в них не было слышно ни пощады в отношениях людей с людьми, народов с народами, ни снисхождения, и по-новому показалось ужасным.

И подумалось с угнетающей грустью: поистине первобытная суть человека, освещенная надуманной судьбоносностью, предопределенностью свыше, неистребима и в этом, должно быть, ее губительный рок.

...Не всегда испытываешь удовольствие, слушая в тревоге ИСТОРИЮ наших далеких предшественников, даже понимая условность ее; еще рискованней, пытаясь по мере сил быть непредвзятым, добавляя свои несущественные страницы поисков и раздумий, но чтобы жестокое прошлое не забывалось, кто-то должен и это делать жестоко.

Впрочем, смута – всегда только смута, все мы под ее властью, что уже собственная фатум-судьба...

С уважением к читателю, автор

Око судьбы

Было и будет: люди меняют одежды, люди меняют и веру – со временем все вокруг человека и в человеке ветшает. Но над миром вечного, прошлым и настоящим, живыми и мертвыми незримо витает ОКО СУДЬБЫ...

Множество настороженных взглядов было устремлено на Пророка. Люди слушали его, как слушают чужезстранца. И тогда Пророк, едва ли надеясь быть услышанным, как хотелось бы, произнес:

— Ближайшая жизнь – только пользование обольщением. Бойтесь Бога, если вы верующие.

Не осознав глубины его сострадания к ним, не все согласились. Помолчав, Пророк тихо добавил:

— Нет у меня заблуждений, я один из посланников от Бога миров. Я передаю вам послание моего Господа и советую вам. Я знаю то, что вы не знаете.

— Не для того ли ты пришел, чтобы мы поклонились твоему Богу и оставили то, чему поклонялись наши отцы? – спросили его. – Ведь пророки были до тебя и до нас, будут и после. Что же ты знаешь такое, чего мы не знаем?

Сохраняя смиренность, Пророк ответил:

— Тот, кто сказал: «Будь!» — и вы стали, и есть Создатель. Помните. Услышьте его в себе, и услышит он вас. Вы — семя и дети Света. Пойдите на Свет, забыв о Злобе и Тьме. Станьте терпимы и будете прощены. Будьте прохожими. И будут первые последними; ибо много званых, а мало избранных.

— Приведи же нам то, чем грозишь, если ты из числа праведных! – вскричали люди.

Слова Пророка были печальны:

— Уж пали на вас от вашего Господа наказание и гнев. Я передаю вам послание Господа моего, я для вас – верный советник, но не любите вы советников. Вы – люди, вышедшие за пределы. И нет на вас греха, если вы будете

искать милосердие от вашего Господа.

Не все достигает сознания. Не каждый способен услышать сострадательное осуждение Неба земных неурядиц, сотворенных продолжающимися развратничать, грешить, убивать друг друга. И разом упала ночь, небесные хляби разверзлись, блеснули молнии, ударил гром, пролился сметающий дождь – гласят лукавые в чем-то предания веков. А человеку были ниспосланы мучительные испытания за ничтожность его, в которой, по сей день не покавшись, он пребывает...

Он снова распутничает, богохульствует, прелюбодействует, не зная ни меры, ни пределов.

Вместо пролога

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИМПЕРАТОРА

1. Утреннее происшествие

День умирал, опадая на изнуренную землю блаженной прохладой. Под сводами огромного летнего сада щебетали пресытившиеся птицы. Журчала вода в мраморных арыках, из сада за позолоченными решетчатыми створками главного входа наплывало божественное благоухание роз, камелий, жасминов. Вечернее застолье с удалцами и сановниками первой руки, завершавшее очередной день божественного правления Китайского императора Тайцзуна достигло высшей точки блаженствующей умиротворенности и сладост-

ного пресыщения, но сам владыка Поднебесного царства был погруженным в себя и отсутствующим. По его скуластому смугловато-желтому лицу, выдающему тюркское происхождение, покрытому глубокими морщинами прожитых испытаний, гуляли странные тени, настораживающие близких и знающих его повышенную чувственность. Не предвещающая неожиданностей, вечер шел своим чередом, устоявшимся за годы и годы. Он мог продолжиться пышным приемом посла из далеких земель, льющего дифирамбы мудрому повелителю Китая, провозглашением перестановок среди военачальников, триумфом вернувшегося из далеких степей генерала-полководца, усмирившего новую смуту, и мог стать обычным загулом с поединками удальцов, не чуждыми ни самому императору, ни его воинственной знати. Ненавязчиво, точно с Неба, лилась тысячеструнная музыка невидимых инструментов. Напрягались тонкоголосые флейты, любимые состарившимся китайским владыкой. Из бамбуковой трубы с позолоченным оголовком, изображающим пасть дракона с высунутым языком вместо желоба, в огромную, как бассейн, малахитовую чашу, увитую живыми цветами, струилось вино. Бесшумно, как тени, сновали прислуживающие рабы и рабыни; великолепны были танцовщицы, словно извивающиеся змеи сменяющие друг дружку на огромном ковре в центре залы. Закончив танец, повинувшись властным взмахом рук пирующих, они с приглушенным смехом располагались вольно на коленях у сильных мужчин. Оставляя им-

ператора холодным и равнодушным, через каждые два часа по команде дворцовый распорядитель-воеводы Чан-чжи, под гулкие звуки походных барабанов и сиплый рев труб, на каждом из входов в залу сменялись гвардейские стражи – церемония, всегда возбуждавшая повелителя.

Император оставался задумчивым или просто скучал – что бросалось в глаза, и пирующие старались быть сдержаннее обычного. Но правил без исключения не бывает. В какой-то момент императора привлек невоздержанный возглас прибывшего недавно в Чаньянь с богатыми дарами нового хагяского предводителя, избранного на сходе старейшин: прежний скончался от старости. Император знал, что начало этому северному краю положил его дальний предок Ли Лин, в свое время отправившийся в военный поход в лесные Саянские урочища на хуннов, закончившийся поражением китайской армии и пленением предводителя. По истечению времени хуннский шаньюй помиловал генерала и, приказав снять колодки, назначил управителем огромных владений по могучей реке в черни Сунга. Дикие хунны давно канули в небытие, суровые окраинные земли на Улуг-Кеме переходят из руки в руки нарождающимся наследникам лучших воинов, в свое время разделивших с Ли Лином судьбу пленников, в конце концов так же помилованным не без его многочисленных обращений к шаньюю и возглавившим отдельные крупные рода засаянского междуречья. Требовалось величайшим указом узаконить права северного вождя, решив

попутно и несколько других важных вопросов степного обустройства, на что у Тайцзуна никак не находилось времени. Возможно, желания что-то менять, кто побывал в него голове?

Оживший на мгновение взгляд императора непроизвольно наткнулся на отрешенно сидящего наследника. Тайцзун вялым жестом руки подозвал распорядителя, что-то шепнул. Струнные инструменты словно бы сбились, слышались суховато сипящие флейты, рассыпалась мелкая дробь барабанов. Два полуголых, шоколадного цвета стража-евнуха распахнули легкие створки одной из дверей залы. Из нее выступил на редкость широкоплечий воин и выпустил нескольких новых наложниц, устремившихся к императорскому возвышению под гул одобрительных мужских голосов.

По-видимому, это должно было стать апофеозом пиршества, способным поднять настроение всему застолью, но случилось обратное.

– Опять Чан-чжи рядом с Цзэ-тянь, – слышался неодобрительный шепот, заставивший повелителя помрачнеть и насупиться.

– Наследник! Наследник Ли Чжи просто съедает глазами! Прекрасные телом и мастерством воздушного танца наложницы замерли в двух шагах от императора в самых изящных позах. Но юная Цзэ-тянь оказалась ближе других и движения не замедлила. Стройная как ветка лозы, гибкая, с разгоревшимся личиком, в просвечивающихся одеяниях, она

готова была, разогнавшись, взлететь ему на колени.

Восторженные глаза наследника, не мигая, следили за ней, император нахмурился, выиграл желваками.

Природа немыслимо разнообразна, за миллионы лет ни разу полностью не повторившись в живых созданиях. По ее прихоти или капризу от сильного рождается слабый, от ничтожного разумом, телом – мудрец или великан... Мысль была не новой, раздраженный взгляд императора опять скользнул по застолью напротив и наткнулся на продолжавшего почему-то не в меру шуметь посланца с лесных берегов Улуг-Кема: должно быть, тому бросились в голову непривычно сладкие вина.

– Не так давно на мосту Вэй мы отрубили головы трем тюркским послам: они дерзко хвалились множеством заслуг перед нами. Ныне сылифа-хагясец, кажется, хочет перешагнуть...

Император поднялся.

Огромная зала в мгновение замерла, музыка оборвалась, распростерлись, словно умерли, полунагие наложницы. Божественная Цзэ-тянь с расширившимися от ужаса зрачками, остановила воздушный полет у него под ногами...

Упала тяжелая могильная тишина.

Да вино нешумно струилось.

Перешагнув дерзкую танцовщицу, император обводил застолье медленно текущим взором.

Он был сердит. Не слушая возгласы вмиг протрезвевшего

лесного вождя о преданности хагясов, что лишь усугубляло его глупость и лезло в глаза туповатой надменностью, император уперся острым взглядом в сидящего рядом с ним красивого рыжеголового юношу.

Юноша растерялся и замер, удивив императора тем, что даже не смог потупить беспомощный взгляд или хотя бы испуганно сморгнуть.

Он не был похож на его... сына, умел бояться судьбы, и Тайцзун вдруг усмехнулся.

Узкие глаза его, сузившись на мгновение, снова расширились.

Словно ослабив удавку прозвучавшей угрозы, он произнес, легко вспомнив имя хагясца:

– Глупость должна всегда получать наказание, а испуганное любопытство вознаграждаться. Пришли нам знатных юношей, сылифа Шибекей-ачжан. С этого дня будешь цзе-тхун-вэй. Достойный князь будешь... Мы чтим твой род, поскольку почитаем дальнего предка Ли Линя. Твои пращурьы были с ним, но, потерпев поражение, побоялись вернуться, оставшись навсегда в далеких холодных землях. В тебе и во мне его кровь. Помни, когда начинаешь болтать в опьянении. Да, Гянь-гунь – так будем звать твои земли. Подчиним Яньчжаньскому наместничеству, и прекратим ваши раздоры с моими тюрками. Рыжеволосого, – император властно указал пальцем в массивных перстнях на юношу, – оставишь у нас на четыре года. Как его имя, цзе-тхун-вэй?

– Эрен Улуг, Высочайший во власти! Его зовут Эрен Улуг, он мой племянник.

Косясь на винную струю, падающую в чашу, император глухо сказал:

– Продолжайте, скоро вернусь, устроим какой-нибудь поединок на длинных мечах. В конюшню! В последнее время мне по себе только среди любимых коней! – бросил он властно сквозь зубы воеводе Чин-дэ, точно не замечая оказавшегося рядом с ним многолетнего любимца Чан-чжи, заставив последнего сильно нахмуриться.

Когда вышли в сад, он глухо сказал:

– Чан-чжи, ты со мной не ходи, мне хватит Чин-дэ...

Случилось это почти полторы тысячи лет назад, вечером 9 июля 649 года, а наутро, 10 июля, правитель Китайской империи, может быть, самой сильной в Срединной Азии за годы существования мира, китайский император Тайцзун, рожденный под именем Ли Ши-миня, почувствовав сильное недомогание, впервые за двадцать лет правления нарушил незыблемый этикет и не принял для утреннего донесения военного шаньюя-канцлера.

Он лежал на полужестком ложе подобно бесчувственной мумии, не мигая, смотрел в потолок, и тени растерянных чувств метались по его волевому, узкоглазому и не очень холеному лицу. С позолоченного балдахина свисали волны узорчатых шелков, расшитых фантастическими цветами, де-

ревьями, драконами и райскими птицами. Желтокрылые, синеголовые, красногрудые, они будто порхали вокруг, пели бесконечную песнь о любви, страсти, величии, а длиннохвостые драконы дышали огнем и злобой и готовы были пожрать все живое, среди которого до этой минуты самым живым был он, император. Медленное, давно привычное утреннее движение света по балдахину знакомо меняло и краски цветов, и блеск чешуи драконов, и расцветку павлиньих оперений. Но возникла, надвинулась угрожающе огромная тень, нацеливаясь на грудь императора, его душа испуганно вострепелась и воспротивилась: казалось, жизнь улетает, оставляя глухую тоску: нельзя было отпускать...

Тоска была оглушительной. В нем ее было много – как в половодье воды в закипевшей реке. Она разрывала его сильную грудь. Привычная радость нового дня, вдруг показалась пустой. По сильному телу императора прокатился озноб и сотряс его крупное тулово. Но всесильный владыка, властелин многих покоренных земель, усмиритель великой тюркской Степи – не пространства, а *Стени*, как единства прошлых держав, орд и народов, – повелитель и вечный воин уже начинал догадываться, что с ним происходит, сохраняя небывалую выдержку и терпение.

Он сделал многое, собрав, укрепил немощную, безжизненно вялую державу отца, обустроив рубежи, сбил спесь, воинственный пыл диких соседей... Он сделал немислимо много! И что сделал, с ним рядом, за дверью поко-

ев, где ждут царственного утреннего выхода десятки министров, правый и левый шаньюи-канцлеры, государственный секретарь-управитель, знатнейшие вельможи, лучшие удалы-цы-генералы и воеводы, покорившие полмира, послы многих и многих самых далеких держав! Там жизнь, но почему в нем, сотворившем ее императоре, она так стремительно, как загнанный зверь, сжалась, свернулась и... приготовилась?..

Он вяло пошевелился, не желая мириться с тем, что пришло, отстраненно подумал:

«Все же ОНА готова уйти... А мой сын крайне слаб».

Родился невольный протест, душа задыхалась предчувствием, способным приглушить противление мечущегося разума.

Конец?

Это конец?

Смерть возможно предчувствовать, император не сомневался, хотя никогда сильно не верил. Она должна создавать особенную тревогу остывающей плоти, по крайней мере, так утверждали лучшие философствующие умы прошлого. Способный сам недурственно философствовать и выстраивать как логически безупречные цепи рассуждений, так и надуманно ортодоксальные, вызывающие спор в среде умников, окружающих его непосредственно. Он мог подозрительно легко принять сторону очередного мистика и лишь немногие знали, что это привычный прием уклониться от спора, кото-

рый его не увлек. Сейчас не было необходимости ни в споре, ни в поиске доказательств: ОНА вновь появилась в изголовье, и он ее снова почувствовал.

...Вначале ОНА возникала в его воображении неким эфирным дуновением, холодно касающимся груди, утомляющим затылок, спешащим пробраться по кровеносным сосудам в необычно волнующееся сердце, на что можно пока не обращать внимание... Потом – будет резкий толчок – он так представлял начало своего конца чуть ли не с детства, когда в первый раз больно упал с коня, испытал странное помутнение рассудка и невольный детский протест. Толкнется раз и другой, может, будет и третий – если его сильное сердце сдастся не сразу. Но дальше-то, дальше? Куда ОНО полетит, умерщвляя, превращая в прах и рассеивая его последние мысли и чувства, человеческую нежность, любовь, царственный гнев, могущественную власть твердого взгляда, движения руки, – то, чем он живет ежедневно?...

А с тем, остающемся после него, что станет?

Что станет с ним – было ложным посылом, самообманом, насильственным отторжением уже не рассудочной, а здоровой тревоги; самая изощренная философия в подобных случаях утрачивает способности оставаться помощницей и только пугает. Обходя минувшим вечером конюшню, император навестил гнедую жеребую кобылицу как всегда с признательностью, что сделала она когда-то, вынося из жестоких сражений и на которую не садился он уже года три, потрепав

за гриву, подумал о жеребенке.

Жеребенок, новый царственный конь, на котором поскачет уже не он, дал ход первой грусти, невольно родившей образ того, кто поскакать на нем сможет. Мысль о сыне-наследнике стала навязчивой и рассердила. Она мстительно зло нашептывала, что сын его никуда не поскачет. По крайней мере, не в жаркую сечу; его увлечение в последнее время – «битвы» в гареме отца. И коней он, подобно ему, любить не будет...

В полумраке конюшни вдруг возникли старый родитель – азартный наездник, братья... Вернулся он хмурый, с досадой грузно и тяжеломерно прошествовал в спальню, не обращая внимания на заждавшееся застолье с удалцами, князьями и генералами, тяжело засыпая, тревожно проснулся, изо всех сил пытаюсь не думать, что будет... потом.

Это было коварством – не думать о себе, – подобных насилием чувства не любят, препятствий не признают. Усмиряя растущий протест, наплывал сердитый шепот: «Какая разницы, что станет с бранным прахом, державой и сыном, и куда взлетит пыль твоего прошлого. Будущее – тьма, прошлое... тоже во тьме; не картина, на которую можно смотреть, удаляясь или приближаясь. – И тут же острая боль, похожая на мстительный взрыв: – Убивший братьев! Без трепета вспоминающий отца! Не познав смысла жизни и смерти за годы и годы, в гневе на сына, верного воеводу Чан-чжи, ты сможешь познать эту суть и увидеть конец своего бытия

в одно утро? Все оборвется, скорее, на том далеком детском протесте, безвозвратно исчезнет в тумане».

Мысль, напряженная страхом, полная эгоизма, всегда изворотлива и будет вечно слепа, близоруко навязчива. А что может быть упрямей человеческого сознания – само сотворив эту мысль, само ее и лелеет.

Брякнул щит о копьё...

Или копьё о щит?

Как велик этот звук для тех, кто умеет создавать и владеть!

Как он чист и хорош!

Другие шумы доносились сквозь двери и плотные шторы: за ними была жизнь, а он, император и полководец, желая как никогда, переставал ее слышать.

Обдавая жаром, драконы над ним низко летали, синие, красные, желтые птицы парили над безумствующей головой, в саду за окном трепетала листва.

У великих и эгоизм величав. Император Тайцзун, в какой-то момент подумал расстроено: «Как не вовремя всякая смерть!» – И величественно успокоил себя: – «Она всем бывает не вовремя...»

И ему стало легче, он точно окончательно смирился с тем, что увидел. Уступил, долго сражаясь, не одну эту ночь. Тревога тяжелого пробуждения, показавшаяся далекой и непонятной, совсем не холодной, не судорожной на последнем дыхании, на самом деле стала понятна, и он дал ей свободу,

подчинился могущественной силе, потому что, как опытный воин, умел предвидеть не только победы.

...Вообще-то первая мысль, когда он проснулся, была намного пространней и отстраненней. По крайней мере, не о собственной смерти, лишь о неизбежном далеком конце, и он ею просто увлекся. Во множестве многомудрых учений на этом свете о быте и нравственности, государстве и власти, высоком и низменном, бессмертном и обреченном с рождения, император Тайцзун более всех выделял сложное мышление и заповеди бессмертного Кон-фу, отдавал им достойную дань уважения. Только – дань, как признание ума философа и мыслителя, поскольку великий предшественник совести, зная потаенные язвы души, был так же не в силах справиться с ними. Он лишь восклицал, успокаивая и обнадеживая. «Впрочем, в этом великие умники схожи, – потекли новые пространные рассуждения императора, едва ли слышащего истоки. – Уверенные, что способный заблуждаться, способен и пробуждаться, увлеченные, они не понижают на свое счастье, что само СУЩЕСТВОВАНИЕ движется вперед и вперед совместно со смертью, и самые высокие заповеди просто узда. Одно дело слышать и сознавать, и другое – подчиняться. Ведь умирают не только травы, цветы, люди и звери, умирают миры, целые эры, звезды на Небе. И что во всем, что и кому должно подчиняться? Отчаяние и смятение слушают, затаенно внимают участвующему пульсу и ритму летящего времени до тех пор, пока

существует сознание. Сознание – убежище мысли, мысль – червь сознания. Черный червь – живет в черном, белый довольствуется белым, серый невзрачный – в сером невзрачном».

«А в уединенном убежище, среди горных вершин, в нежном шепоте легкого ветра, дикая роза будет полной веселья», – не желая тяжелого грустного, вдруг рассмеялась в нем память старым стихом, и зашептала: «Кругом весна. Тысячи цветов расцвели в своей красоте. Для чего, для кого? Да, время в движении, и жизнь царей становится прахом. Первая человеческая мудрость в том, что ты сам позволяешь себе обманываться, чтобы не остерегаться обманщиков каждый день. И если живущий среди людей не хочет умереть от жажды, он должен научиться пить из всякой посуды. Хочешь быть чистым, оставаясь среди людей, умей мыться в грязной воде».

* * *

Лежал он долго, погруженный в себя, на удивление спокойный, просветленный не опытом долгой и страстной жизни, а смиряющим холодом будущего. Лежал, никого не тревожа пробуждением, потом, дернув за кисть шнура, вызвав дворцового воеводу Чин-дэ, неохотно произнес, едва разжимая бескровные губы:

– Приведи Лин Шу.

Как сам император, воевода Чин-дэ был в приличных годах, но мощь его развитого тела внушала почтение самым заносчивым молодым удальцам; их было ровно пятьсот в личной гвардии правителя, которая пополнялась лишь после смерти одного. Не поверив услышанному, Чин-дэ пошевелил тяжелыми плечами, словно стряхивая неприятности, и произнес:

– Повелитель нуждается в старом лекаре? Вчера ты был переполнен силами, нам готовят большую охоту, много забав и мужественных поединков! В лучшем виде предстанут твои удальцы!.. Кстати, Великий, объяви, наконец, кого ты желаешь принять на три вакансии? Они существуют полгода, но ты никак не решишься.

Внушая подспудный страх воину-стражу, взгляд императора оставался отрешенным, чужим.

– Вчера... Что с тобой было, великий, я так и не понял!

Усердие грузному человеку всегда дается не просто, ставя в неловкое положение. Согнув массивную шею, не смея пошевелиться, воевода, с широко расставленными толстыми ногами, напоминал быка, готового взрыть перед императором землю и достать, уничтожить любого, кто накануне испортил ему настроение.

Император оставался нем и отчужден.

– Тайцзун, твоя грудь от тоски посинела! Прикажи привести самый благоухающий цветок мира, которым невозможно пресытиться! – собравшись с духом, не очень владея изя-

ществом речи, воскликнул Чин-дэ. – Она всегда в ожидании встречи с тобой – нежная, как левкой, задыхающаяся страстью! Позову?

Император дышал мирской отстраненностью, личного стража и друга не слышал.

Не теряя надежды победить его хандру воевода воскликнул:

– Ты давно не беседовал с мудрыми! Ждет встречи с тобой старец с Ольхона, с которым ты в прошлый раз беседу не завершил, заявив, что продолжишь в другой раз. Ты не забыл? У нас появился новый проповедник не то из Мерва, не то из Герата. Великий, как же они глупы в бесконечном странствии по лабиринтам тайных убежищ ума! То ли дело – охота, кубок вина с друзьями, юная роза у царственных ног!

Тайцзун ему не внимал.

– Хорошо, я прикажу позвать старца Лин Шу, – тяжело переступив с ноги на ногу, с досадой сказал воевода и словно бы пригрозил: – Знай, твой выживший из ума Лин Шу любит копаться в потрохах умерших, а любимого ученика Сяо приучает вскрывать черепа. Монахи проявляют недовольство.

Зря он сказал о монахах, слишком много затронул в задумчивом императоре из того, что было в нем еще в полудреме, но уже просыпалось, готовое к буйству и возмущению.

– Обещая когда-то представить меня Властелину Миров, они много мудрствуют в отстранении, но Агарту мне

не нашли. Беспокойство монахов наступит: однажды я сам от них отвернусь, – скрипуче, недовольно произнес император. – Завладевая душой, они подчиняют ее не Небу, заботясь лишь себе. Они всегда там, где наши евнухи.

– Я не совсем понял твою настолько глубокую мысль, великий правитель, – произнес воевода, обрадованный, что заставил сюзерена заговорить.

– Что проще, чем я сказал? – неохотно проворчал император. – Умея лихо рубить головы, умеи кое-что понимать...

– Ты сказал часть, о чем думаешь, и понятно себе, но не мне. Выскажись определеннее для моего грубого ума.

– Я им поверил, приблизил, отстранив других многомудрых. Суется на задворках моего правления, монахи, подобно евнухам, стали учиться управлять женщинами и только женщинами. Это их Шамбала?.. В этом большое коварство, Чин-дэ.

– Коварство женщины или монахов? По твоей царственной просьбе в поисках входа в Подземное Царство я обследовал вместе с монахами, вплоть до Байгала, сотни бездонных пещер, преодолевал недоступные перевалы Тибета и ничего не нашел, кроме женщин! – попробовал пошутить воевода.

– Евнухов и монахов, Чин-дэ. И женщины, женщины! – сказал рассеянно император.

– Тайные забавы в дворцовых покоях тебе кажутся опасными? – удивился воевода, сдерживаясь, чтобы искренне не расхохотаться, поскольку подобное во дворцах было все-

гда.

– Называя забавами дальний расчет, мой воевода становится беспечен и глуп, насколько может быть глуп и беспечен воин, знающий женскую ласку лишь как забаву, – неодобрительно произнес утомившийся повелитель. В глазах его тусклых не было ни живинки.

– Зачем, если я глуп, – обиделся воевода и круче согнул толстую шею, – говоришь со своим старым солдатом, на теле которого ран больше, чем поцелуев!

– И я был беспечен, я упустил власть над монахами, – наморщив плоский лоб, тихо, с досадой произнес император.

– Когда правитель, подобный тебе, начинает понимать, он способен исправить!

– Поздно, Чин-дэ. Я понял, может быть, главную ошибку, но у меня кончилось время. Его надо больше, чем на затяжную войну. Позови старого лекаря, позови!

Император не требовал, он просил, изумляя воеводу не царственным поведением.

2. Знающий тайнства смерти

Мир кажется тривиально примитивным по своему содержанию вблизи и становится плохо понятным на пространственном удалении, но так ли он прост, замешанный на невидимых противоречиях, в самом обычном?.. Китайский император Тайцзун знал страх правителя, принимающего ре-

шения в последний момент, многое упустившего прежней неуверенностью и лишними сомнениями. Результаты редко бывали удачными, особенно в битвах, но есть ли, был ли правитель, опережающий силу и смысл, весь напор текущего времени?.. Тайцзун плохо понимал, куда увлекают его размышления, не хотел на них сосредотачиваться, прогонял, избавлялся, как мог, возвращаясь к наиболее близкому и тревожному – предстоящей беседе с лекарем, но они появлялись и требовали...

Они требовали осознания... будущего.

Они не истаяли в нем после случайной беседы с наследником...

После короткой беседы с наследником, у которого в пустых глазах мелкие мысли.

У наследника нет честолюбия, одна глупая страсть.

Его братья были такими же... глупыми.

Они вертелись вокруг трона отца, а он, презирая смерть и меньше всего рассуждая о легковесности славы, сражался вечно на дальних границах с врагами этого трона.

Разве он думал о троне, как думают опьяненные сумасброды? Пришло время, и он его взял.

Когда появился пожелтевший от старости невероятно шаркающий сандалиями лекарь с реденькой длинной бородкой и закрывающими глаза седыми бровями, и, став на колени, припал к его императорской постели, Тайцзун вялым жестом приказал лишним уйти.

Продолжая прислушиваться к себе, не обращая внимания на безмолвного и бездыханного старика у ложа, он глухо сказал:

– Ночью я опять... покидал себя. Поднимись, не валяйся, Лин Шу... Туман до сих пор не рассеялся, я почти не владею телом.

– Расскажи подробнее, – попросил сухонький благообразный врачеватель.

– Помнишь, в плавании на судах по заливу в Бохань нас многих укачивало?

– Помню, – ответил старик, сдавливая и враз отпуская, прощупывая быстрыми длинными пальцами руку императора, вздувшуюся венами.

– Подолгу и часто меня снова качает, – сказал Тайцзун.

– Днем или ночью? Во время сна или во время твоего распутного пьянства? Во время долгих игр с молоденькими наложницами, готовыми, как хищные птицы, клевать день и ночь твою грудь, или когда справляешь трудную нужду? – Лекарь явно был сильно рассержен и не считал нужным скрывать.

– Лин Шу, и большая нужда, и свеженькие наложницы – суть единого. Оно – телесная прихоть, я говорю о другом. Ты не слышишь меня? – Правитель недовольно нахмурился, засопел тяжело, потянул на себя шелковое одеяло.

Лекарь не дал ему спрятаться от настороженного взгляда, придавил одеяло рукой и крепче стиснул длинными сухонь-

кими пальчиками императорское запястье.

Император был могуч телом, с короткой толстой шеей, вздувшейся венами, далеко не стар. Лицо его, с налетом тюркской смуглости, узкой белой бородой, лежащей пучком ковыля на груди, сохраняло властное выражение – подобно маске сурового величия, надетой однажды и навсегда. Но старец, за годы и годы, достаточно хорошо изучил норов его и повадки, чтобы не уловить в царственном голосе непривычные нотки раздумий и вовсе не царственный страх в затяжелевшем дыхании. Зная о жизни и смерти намного больше других, и не из философских трактатов, он понимал цену подобного страха.

Приподняв голову, стараясь не выдать волнение, не мигая заслезившимися от напряжения выцветшими глазами, лекарь сказал, как посоветовал:

– Не загоняй себя в черный угол, мой великий правитель и государь, и прости, ты утомился множеством дел, снова лишился сна. Прекратить бы тебе лихие распутства.

– Лишился сна? – напрягаясь, воскликнул правитель. – Я боялся вообще не проснуться! – И заворчал: – Кажется, я болен серьезно, Лин Шу, зачем уводишь глаза?

Лекарь был в нерешительности, на его тонкокожем, без единой морщинки, желтом лбу выступили мелкие капли холодного пота.

Подумав немного, старик произнес:

– Я слаб в собственной голове, не то, что в твоей. Когда

ты прежде жаловался на голову, мы находили возможность снять ее тяжесть, но когда это было в последний раз! Соберись и ответь, я снова спрошу. Чем император обеспокоился в самом начале: он проснулся с тяжестью или не мог уснуть от непосильной тяжести? Холод был в голове или жар? В тебе напряжение, вспучилась кровь, видишь? – Лекарь показал императору на его вздувшиеся вены.

– Не помню. – Голос правителя оставался слабым. – Как всегда, я подумал о вечном, и меня вдруг не стало. Нет, нет, вечером и ночью у меня никого не было! – Император словно оправдывался.

– Ты уснул – и тебя не стало?

– Нет, повторяю, не спал! Или не мог... вернуться. Сейчас я не сплю, Лин Шу?

– Не спишь, император. Вот! – Старец сильными пальцами ущипнул правителя за обнаженную ногу.

– Больно, глупец! – вскрикнул Тайцзун.

– Тем лучше, – произнес Лин Шу.

– Да, я есть, и меня... не бывает, я знаю. Сегодня я понял: могу не вернуться.

Тревога императора билась только в глазах, остальное владело собой, но глаза слышат глубже, глаза первыми выдают состояние души – старый лекарь, подернувшись сухоньким телом, проявил новое беспокойство.

Он спросил:

– В детстве, упав сильно с коня, ты долго не хотел садиться

в седло – помнишь? Тебе сделали деревянную лошадь.

– Я помню бамбуковую лошадь, – император шумно втянул в себя воздух.

– Братья смеялись над лошадкой, особенно старший, Гянь-чэн, ты сердился. Однажды твой гнев достиг предела, убил в тебе страх.

– Хочешь вылечить мою душу моим собственным гневом? – Тайцзун усмехнулся, высвободив руку, ощупываемую лекарем, коснулся впалой груди старца. – А если меня утомила тяжесть самой власти? Такой бывает усталость?

– Преодолей вначале страх – ты испуган, – и кровь успокоится.

– Возможно, но я не мальчик. Мало я падал с коней, получая удары, от которых темнеет в глазах? Нет, не страх. Думай, Лин Шу. Много постигнув, не мало умея, что мы знаем о собственной голове?

Оставаясь в раздумье, старик произнес:

– Повелитель страны вечности, есть подающий надежды юноша Сяо. Ты не мог не слышать о нем нечто странное, скоро я сам расскажу. Он составляет настойки по древним рецептам, утверждая, что память способна к очищению. Как тело, вместилище пищи...

Должно быть, он собирался сказать, что намерен пригласить к постели императора этого юношу, но Тайцзун перебил, недовольно воскликнув:

– От чего избавлять мою память, старик? Что в ней лиш-

нее?

– Она просит о помощи, но где искать? – мягко сказал старец. – Давай вместе поищем. В прошлом и настоящем, в свершенном тобой, но не так, и не свершенном пока.

– Я никогда не думаю – как, я думаю – когда, и потом совершаю!

Император сердился.

– Не спеши, не всегда понимая, мой господин! – Лекарь понизил голос. – Не лучше ли снова немного забыться. Забыться и вспомнить, вспомнить и рассказать.

Колыхнув шторы, ветер донес из сада веселые голоса. Узнавая один, император подавленно произнес:

– В саду наследник нами с тобой содеянного, Лин Шу...

– Ты! Ты с ним встречался вчера, великий? Ты встречался?

– Наследникам трудно, приходится ждать, а мне повезло, я не был наследником.

– Ты мешаешь, рука моя слушает, успокойся, освободись от сомнений. Забудь, что ты есть.

Лекарь был упорен, терпелив, власть его над правителем обретала новые очертания – Тайцзун погружался в раздумье.

– Ищи, – говорил ему старец полушепотом, похожим на заклинание, – ищи нечто. Оно близко. Сильнее тебя. И может быть далеко. Как подземные царства... бездонное Небо... Дальше настолько, что трудно подумать... А если думаешь и не знаешь? Наш сон – другая тайная жизнь. Мы

не ходим, не едим, не пьем, – куда-то улетаем. Только сон приносит глубокий покой нашему телу. Он лучший лекарь, его ничто не заменит. Куда улетаешь среди ночи ты, мой господин? Куда улетаёт мальчик на бамбуковом коне, юноша, соблазняющий девушку, генерал Ли Ши-минь, побеждающий врагов? Кат Иль-хана – помнишь его? Где твое сердце, где долг?

– Прошлое не умирает, Лин Шу, и вовсе не царство вечного – зачем туда возвращаться? Хочешь меня усыпить?

– Ты давно спишь, господин, тебе хорошо. Кто испугался прошлого, генерал Ли Ши-минь или великий Тайцзун? – невозмутимо, упрямо наседавал желтолобый старец.

– Старик, что надо знать, ты узнал, успири любопытство.

– Генерал, убивающий собственных братьев, или император, жаждущий новых наложниц? – не уступал ему лекарь. – Не сопротивляйся! Ты спишь! Крепко спишь! К тебе приближается... Отвечай, властелин Поднебесной, как ответил бы только родителю: что видишь? Кто рядом?

– Братья приходят. Простив, я иногда с ними играю, но стрела в груди Гянь-ченя... Отец должен быть строгим – у меня был слабый отец, и нет наследника... – Император неожиданно замолчал, глаза его оставались закрытыми

– Что? Что – наследник?

– Нет, ничего, я должен еще говорить, – подозрительно ровно произнес повелитель.

– Ты начал издалика и ничего не находишь. Что же тогда?

Ухвати свою боль! Где она? В ком ее видишь? – требовал властно лекарь, положив руку на лоб императора.

Люди хотят знать судьбу, но им не дано.

Люди слушают лекарей, а слышат себя.

* * *

Широкий лоб императора, к удивлению старого врачевателя, не был горячим, он оставался холодным. Не снимая руки, лекарь молчал.

И Тайцзун замолчал, но странная борьба меж ними не прерывалась.

Побежден сейчас будет тот, кто заговорит первым – они оба знали об этом. Правда, один из них жил наяву, в полном осознании поступков и действий, другой – в безотчетности чувств, как в тумане, и противостоянием оба были сильны.

Борьба в душе императора шла нешуточная, тень сомнения бродила по лицу властелина Китая – огромной державы, возрожденной им к новому могуществу и процветанию. Он должен был уступить лекарю, отринув обычный человеческий страх, открыть уставшую душу, не должен бояться своих откровений, и не хотел.

Врачеватель грел его лоб ладонью, императору было приятно, правитель слабел, размягчался, дважды разжимал пересохшие губы, пытаясь заговорить, и сжимал.

Они у Тайцзуна были тонкие и чувственно-нервные.

По их движению, как сжимаются и разжимаются, лекарь без труда угадывал его настроение. Особенно по утрам.

Старик любил императора. Все любили Тайцзуна, воины восторгались, пятьсот удалцов могли в любое мгновение умереть по легкому жесту руки владыки, но старик любил его по-особенному. Нет, не как сына и не как божество. Лекарь ходил с ним во все походы, врачевал его большие и малые раны, не однажды спасал от губительных и кровавых расстройств живота, в совершенстве знал выносливую царственную плоть и глубину просвещенного разума, стоял у начала этой величественной жизни и слышал... конец.

Он его слышал – конец императора приближался стремительно, и если сейчас ничего не предпринять, повелитель уйдет в потустороннюю вечность, обрекая и лекаря. Что тогда сам он, усохший старик, и ему уходить.

Не всегда умея помочь, неумолимую смерть лекарь предвидел задолго – она сильно меняет людей, о чем никто не догадывается, кроме его и к чему он готов. Предстоят бессонные ночи, в течение которых, измучив себя беспомощностью больше, чем за долгие годы преданной службы, он будет умирать вместе с владыкой, и умрет.

Иначе не будет, он уйдет следом...

Полный сострадания совсем не к себе, обостренно внимая каждому жесту и слову, лекарь жил последними днями императора. Отринув его величие, он любил страдающего ребенка – страданий в детстве мальчику Лин Шу досталось

не мало.

Тайцзун должен вернуться в далекое прошлое, покориться воле врачевателя и пожаловаться на недомогание. Другим не помочь, если он сам себе не поможет.

С жалобой ребенка, однажды пересилившего недуг, беда может уйти – Линь Шу в это верил свято, – но императоры не умеют, стыдятся жаловаться.

– Мой старший сын... будет слабым наследником, – мучаясь, сопротивляясь себе, произнес Тайцзун.

– Он законный наследник, – укорил его лекарь, уверенный, что сочувствие не уместно.

– Увидев мою последнюю наложницу, он потерял рассудок и стал посмешищем. Удальцы презирают его.

Тонкие губы императора плотно сжались. До синевы.

– Отруби наложнице голову, – безжалостно подсказал врачеватель. – Одной станет меньше – и только.

– Она почти девочка, – как бы осуждая жестокость лекаря, рассеянно возразил император, но губы, плотно сжавшиеся тонкие губы его посинели сильнее.

– Император! О чем ты, великий из великих, когда речь о сыне, возжелавшем твоей наложницы! – с неприкрытым испугом воскликнул худенький старичок, сидящий на краю постели больного. – Маленький мозг в маленьком черепе всегда изощрен, тебе ли не знать – женщина изначально коварна телом?!

– Она опасна, знаю. Она ласковая, подобно теплomu ко-

тенку, припавшему к старому сердцу, у нее жадные глаза и руки, – произнес император, светлея лицом.

– Что – руки? – напрягаясь, спросил врачеватель.

– Они подобны когтям опасного зверя, с ней приятны мужские забавы.

– Ненасытный. Давно убеждаю – тебе опасны подобные страсти, утихомирься.

Осуждение лекаря пришлось императору по душе, он ослабился, ожили глаза, шевельнулись порозовевшие губы.

– Мне приятно и она это знает, – устало, закрывая глаза, сказал император. – Больше никто...

– Поняв... она тебя истязает? – спросил врачеватель, чуть не закричав о том, чтобы Тайцзун не смел закрывать глаза, потому что в темноте своей головы ему оставаться опасней.

– Меня? Разве я глуп или слеп и не вижу, кого она истязает? Я думаю и... не могу, Лин Шу. Не могу, – ответил император точно из другой, неведомой жизни.

– Не можешь убить, но хочешь?

– Не могу, – согласился Тайцзун, и губы его вновь посинели.

– Сошли в монастырь, – преследуя цель – не оставлять больного в покое, поспешно посоветовал врачеватель.

– Я думал о монахах... Как мужчине, соблазна женщине не укоротишь, не отрежешь лишнюю часть, он в ней подобен зуду.

Он уходил! Император на глазах уходил. Врачеватель то-

ненько закричал, как взмолился:

– Отправь! Отправь далеко. В Тибет! В Непал! Сошли под строгий надзор, повелитель!

– Когда я умру, она захочет вернуться, зная, зачем. Разве я не умру однажды, а мой слабый сын не станет ее искать?

«Его добивает досада на сына. Ах, эти своенравные детки!» – подумал старик и предложил:

– Прикажи, усыпим. Надолго. Проснется – опять. Средства есть, мой повелитель.

– Не надо. Разве ее вина в том, что рождена красивой и обворожительной, и разве мужская страсть уже умерла? Что станет с мужчинами, лишенными вожделений? Я умертвил многих достойных мужей, гнев мой знаком и прекрасным женщинам, но разве не я обрек ее на страдания? Приставь к ней пока... – Император напрягся так, что на шее снова вздулись толстые вены. Его широко раскрывшиеся глаза уставились на лекаря.

– Кого к ней приставить? Воеводу Чан-чжи?

– Не знаю. На Чан-чжи мне доносят...

– О-оо, насколько ты болен, став доверять доносам! То сын у тебя в голове, то удалец-воевода. Так не долго сойти с ума, мой господин.

– Замолчи! – император задохнулся в невольном гневе и произнес, как отрубил: – Приставить молодого монаха, который учит ее риторикам.

– Молодой монах – не преданный удалец Чан-чжи, не ев-

нух, мой повелитель! – в сомнениях произнес мудрый старик, не понимая скрытую мысль императора, и радуясь, что гнев вырвал императора из небытия..

– Монаха! – властно повторил Тайцзун, принимая окончательное решение. – В нем заметна слащавость, он падок на женскую плоть!

Лекарь, кажется, понял его, тихо, в испуге спросил:

– И позволить...

– Да! В ночь, как... уйду. Убей в ней коварную силу и страсть, потом в монастырь.

– А молодого монаха?

– Скорми моему льву! Он давно не пробовал человечины.

– Великий, отдай поручение другому, – спохватился вдруг лекарь, – я не смогу.

– Сможешь и завершишь.

– Мой повелитель, слуга не должен...

– Ты исполнишь, Лин Шу.

– Когда ты начал думать о смерти?

– Почувствовав, что могу не вернуться.

– Голове было холодно?

– Нет, ее обнял жар. Холодно было сердцу, оно замирало.

– Великий! Правитель! Так бывает всегда, когда жар! – шумно вздохнул не на шутку озабоченный старик. – Я думал, тебе холодно! Голова – лишьместилище наших мыслей. Что некогда в нее положишь, то через время возьмешь. Череп и полая кость –местилище! И твое тело! Как сундук,

в котором старятся лишние вещи. Всюду что-то лежит! Почему ты ищешь в одной голове? Ты просто боишься смерти и случайно подумал...

– Я не боюсь смерти, страшно потерять рассудок. Может пролиться много невинной крови.

Властная рука лекаря продолжала греть лоб императору, но воля Тайцзуна снова крепла, надолго или нет, но жизнь к нему возвращалась, оживали глаза.

– Мне снова не все понятно. – Старик поспешно сдернул руку.

– Хватит, дай побыть одному. Потом буду говорить с наследником.

– Что хочешь, чтобы я предпринял... кроме монаха? Самую жадную женскую плоть можно заставить стать немощной, государь! Прикажи, я найду, как сделать!

– Я нашел.

– Я сомневаюсь.

– Уходи, сняв одну боль, ты вселяешь в меня сразу много других – так вот лечишь. Уходи, Лин Шу... Нет, нет! – Вскинувшись, император был похож на безумного. – Оставься при мне неотлучно. Слушай, когда я сплю, спрашивай, пробуждай. Никому! Никому! Я начинаю бояться себя.

– Кто будет рядом со мной?

– Только Чин-дэ.

– А Чан-чжи? Ты проявляешь несправедливость.

– Чан-чжи... Может быть, я в нем ошибся.

– О-оо, какой ты разгневан сегодня на лучшего удалца!

Кто из других у тебя на подозрении?

– У меня много верных друзей, но первый – Чин-дэ.

– Чин-дэ служит в покоях. За пределами ты поставил дивизию Чан-чжи. Не лучше ли...

– Не лучше! – оборвал его император.

– Подумав о верном Чин-дэ, ты подумал о смерти братьев?

– Дай заснуть. Ты меня утомил, я хочу спать.

– Он устал думать! Ему надоело думать! – посветлев лицом, примирительно и удовлетворенно заворчал Лин Шу.

– Я устал тебя слушать, – рассердился Тайцзун.

«Сердись, это на пользу», – подумал с облегчением Лин Шу, а вслух произнес:

– Чтобы досыта напиться, необязательно пить долго и выпить много! Ты сам позвал, и сам прогоняешь.

В глазах старика появились слезы.

Ветер снова ворвался, взметнув оконные занавеси.

Ударил в шелка балдахина, зашелестел.

Разметав поющих птиц, изрыгающих гнев и злобу драконов, упал на лицо великого императора Тайцзуна.

Вскинув голову, Тайцзун хватал, хапал его порозовевшими губами. Его жизнь еще продолжалась...

3. Тяжесть сомнений

С того странного утра начальник личной гвардии правителя генерал-воевода Чин-дэ, лекарь Лин Шу и его ученик Сяо к Тайцзуну никого, кроме наследника, не допускали. Все покои были заняты воинами специального корпуса телохранителей, отвечавшего за безопасность многочисленного семейства правящей династии Ли, которым командовал воевода Чан-чжи. Дворцовая жизнь затаилась.

Прошло несколько дней.

...Выпив предложенные лекарем настойки, император попробовал пошевелить ногами и произнес:

– Они совсем перестают слушаться, Лин Шу.

– Прикажешь позвать других лекарей? – Лин Шу виновато упал на колени.

– Я сказал о ногах, Лин Шу!

– Повелитель Тайцзун, прикажи умереть за тебя прямо сейчас! – воскликнул старец.

– Встань, больше не падай, – сказал император.

– Почему не позвать, великий император? Во дворце тьма всяких магов и предсказателей, – раздраженно проворчал Чин-дэ, давно недовольный беспомощностью лекаря, и враждебно воспринимающий старого врачевателя.

– Этих не надо, Чин-дэ! Только не этих! – испугался лекарь.

– Есть знающий черный факир, заклинатели змей, непальские знахари, лечащие душу. А сонм предсказателей, повелитель! Почему не выслушать их толкования! – настаивал сердито нахмурившийся воевода, не в силах мириться с не царственной покорностью повелителя перед стариком, похожим на ходячую мумию.

– С душой у меня в порядке, – добродушно сказал император, усиливая досаду воеводы. – В ней много черного, но болит не душа.

Лицо императора было усталым; чтобы не наговорить от беспомощности лишнего, воевода насуплено отвернулся.

– Один древний лекарь считал, что голова есть сосуд, где должна остывать кровь человека, забирающая жар души, а когда болит голова, беспокоит душу и сердцу, – задумчиво произнес Лин Шу, поглаживая руку императора. – Тебе следует больше спать, повелитель, и реже возвращаться в прошлое. О чем ты опять задумался?

– Старость всегда становится задумчивой и никуда не спешит; ее час предreshен... Помнишь, Чин-дэ, как мы когда-то вошли в эти покои? – Император вдруг резко повернулся в сторону воеводы. – Увидев нас вместе, отец удивился, его лицо, заросшее черными волосами... Оно стало испуганным, Чин-Дэ, не забыл? – Плечи отвернувшегося воеводы предательски вздрагивали, и Тайцзун произнес: – Чин-дэ, сделав немало, мы прожили славную жизнь. Сожалею, что отец никогда не узнает... как я его боготворил.

– Он был уверен, что тебя уже нет, должно быть, успел оплакать, но ты появился, – сохраняя ворчливость, примирительно произнес генерал-воевода.

– Он любил меня, я знаю. Во мне нет зла на него, решая судьбы державы, правитель всегда перед выбором. Я сказал: твой старший сын, отец, уже мертв, я его застрелил. Нет и младшего, его застрелил воевода Чин-дэ. Остался средний, он здесь, поступай, как знаешь, – и я встал на колени. Помнишь, что было потом, Чин-дэ?

– Твой отец заплакал. Он сказал, что умел храбро сражаться и не умел управлять. – Утерев украдкой глаза, воевода обернулся и виновато потупился.

– Война – самое простое дело, он был прав. Всю жизнь мы видим себя только наоборот, потому что видим обратное отражение. Как нам увидеть себя не в зеркале? Я бы хотел увидеть себя не в зеркале, Чин-дэ.

– Ищет, кто потерял. Что потерял правитель Китая? – Воевода натянуто усмехнулся.

– Самого себя, которого я не знаю, – ответил император.

– Сказано сильно, Тайцзун: самого себя! – воскликнул Чин-дэ. – Ты не можешь стать истинно мудрым, если не покажешься безумным в глазах мира, утверждая, что мир и есть главное безумие. Мудрый не должен признавать за реальность обыденную повседневность, наполненную склоками. Разве не так и не ты это говорил?

Император внимательно посмотрел на воеводу и отстра-

ненно сказал:

– Не имеющий горсти риса бедняк стучит в разные двери: он ищет. Когда ему однажды откроют и подадут, он перестанет стучать.

– Хочешь найти лишь горсть риса? – с удивлением, не понимая правителя, произнес Чин-дэ. – Лекарь сказал: останови поиски неведомого – в этом ошибка, и я на его стороне.

– В бедности – ищут, в богатстве – пренебрегают. А если стучу, где никого нет, кто мне откроет? – продолжил странную речь император.

– Тогда не спеши стучать и подумай, – заговорил старый врачеватель, поймав на себе умоляющий взгляд воеводы, просящий о поддержке. – Философы утверждают, что ищут, стало быть, не нашли. Все не могут найти, что ищут.

– Я создал и продолжаю, я – правитель, не философ. Но смерть приходит даже во время убаживания плоти. Видя, что смерть неизбежна, что страдания умирающего определяются его виной, вдруг понимаешь, что ради земных наслаждений не должно совершать зла. Я часто наслаждался властью и некогда говорил, что разные предметы служат нам забавою. Земляной городок и бамбуковый конек суть баловства мальчиков. Украшаться золотом, шелком – забава женщин. Посредством торговли взаимно меняться избытками – увлечение купцов. Высокие чины, хорошее жалование есть забава чиновников, а в сражениях побивать соперника – страсть полководцев. Только тишина, единство в мире –

забава государей. Я был мальчиком и был полководцем, я устал, и ОНА пришла, – произнес он холодно, сурово, спокойно.

– Кто пришел, мудрый правитель солнечного Китая? Нежная, как утренняя роса, новая наложница? – пытался грубовато пошутить воевода.

Император беззвучно засмеялся, шевельнув сухими, как пергамент, обескровленными губами, и, не приняв натянутой игривости воеводы, серьезно сказал:

– Та, которая наделена правом выбирать и забирать по своему разумению, всевластна и над царями! Ее не победить ни армиям, ни мудрецам, ни времени.

Подобные рассуждения императора не были внове; приближенные хорошо знали его склонность пофилософствовать, вызвать на спор знатного гостя или посла и добиться эффектной победы или с достоинством уступить убедительным доказательствам неверности своих суждений. Умея выигрывать, он умел проигрывать. Его мысль всегда казалась свежей, не пряталась за устоявшимися догмами. Но сейчас он говорил слишком тихо и мрачно, без огня и азарта. Он оставался вялым, раздражал отрешенностью, и грубоватый воевода произнес, пытаясь подбодрить его:

– Один мыслитель утверждал: излишние знания только мешают, и надо искать истину в битве с врагами. Не лучше ли в новый великий поход!

Более тридцати лет провел воевода Чин-дэ бок обок с им-

ператором. Знал его молодым, начинающим полководцем, только пытавшимся противостоять на северных окраинах слабой, почти рухнувшей державы грабёжам, разбою, бесчинствам, мощнейшим натискам степной орды тюрка Катхана, не пропустив ни одного сражения во имя Китая, гордился, что был всегда рядом. Он боялся его справедливого гнева и был предан ему бесконечно. Что случилось? Почему рано угасает великий военачальник и великий государь, собравший, в конце концов, Поднебесную в нечто единое, усмиривший Степь и других беспокойных соседей, сделавший себя и кто с ним достойными бессмертия? Почему он уже не вселяет страх силой своей божественной власти и глубокого ума? Откуда слабость и обреченность?

Смущаясь тяжести собственных мыслей и чувств, затуманивших взор, воевода потупился.

Казалось, император что-то почувствовал, его взгляд словно прожег воеводу... Или только показалось? Преодолевая растерянность и набравшись мужества, воевода оторвал глаза от пола.

– Чтобы достичь истины, необходимо преодолеть двойственность «Нет» и «Да», – привычно строго изрек император. – Живой мир обманчив и подвержен постоянному разрушению, а я... Чем занят наследник? – спросил он достаточно резко, как спрашивают, когда говорят об одном, думая о другом. – Вчера мы говорили о слабых местах в государственном управлении. Я прошу расширять устройство мо-

их школ для инородцев. Поощряемая монахами, наша молодая знать стала презирать их. Странно видеть подобное высокомерие! Нужно помнить истины, помогающие народам, которые мы соединили в империю, жить в терпимости и согласии. Высокомерие одного народа в отношениях с другими приводит к великим бедствиям. Нам пришлось однажды усмирять высокомерие диких племен и такого быть не должно. Я прошу сделать постоянными испытания на должности. Несправедливо ущемив толкового инородца, мы получим врага. Я прошу... Позови принца, Чин-дэ, – произнес император, выдержав паузу, – и останься со мной.

– Пошлем лучше Чан-чжи, государь. В покоях наследника и среди твоих наложниц меня недолюбливают, – проворчал Чин-дэ.

Невольная неприязнь мелькнула на лице императора.

Воевода ее не заметил. Приподнявшись и распахнув одну из дверей, он, утишая рычание сиплого голоса, произнес:

– Воевода Чан-чжи, к императору наследника-принца!

«Воевода Чан-чжи... Воевода Чан-чжи... К императору наследника-принца!» – покатилося шепотом по переходам.

Не шелохнувшись, с бледными лицами, стояли воины-стражи, из укромных убежищ-ниш выглядывали широколицые настороженные монахи, шелестели платья рабынь и наложниц.

Страстно молилась в укромной каменной нише с факелом, устремив глаза в Небо, одна из юных обитательниц жен-

ской части дворца.

* * *

Дни текли медленно и напряженно.

В покои один за другим вошли с десяток монахов, по властному жесту воеводы Чин-дэ рассаживались на отдалении от ложа императора и друг друга. Воевода ввел древнего старца, худобой, мелким ростом похожего на лекаря Лин Шу. Но седая борода его была пышной и длинней, белые брови намного шире, усы толще. И был он с крупной проплешиной, пугающе белокож. Монахи шумно и возмущенно заговорили.

– Так ты продолжаешь твердить, Ольхонский шаман, что нет ни Шамбалы, ни Агарты? – перебил возникшее возмущение император, приподнявшись в нескрываемом любопытстве на локте.

– Нет подземных миров дьявола, повелитель Китаев, есть владения богов, летающих на колесницах, – негромко и твердо произнес шаман.

– Что же тогда Вечная жизнь, которую шаманы не отрицают? Или я в заблуждении? – Император хмурился, словно бы зная ответ, и не желал его подтверждения.

Шаман ответил с прежней твердостью:

– Свет и сияние! Мир ангелов и Вечная жизнь только на Небе. Они для души, но не для грубого тела.

– Мракобесие! Мракобесие! – опасаясь громко кричать, возмущались монахи.

– Как же устроен невидимый мир, куда уходят умершие? Кем я буду – разве мне уходить не в безвестность?

– Невесомостью. Легкостью духа. Плоть и мирские желания перестанут давить на твой земной разум. Исчезнет потребность.

– Как эфир, лишь колыхание, я перестану быть всесильным во власти?

– На Небе ты ощутишь власть, которой всегда поклонялся при жизни. Ты не верил в богов? На Небе власть императоров и царей не нужна, там правят боги.

– Что скажут монахи? Нужна мне на Небе власть императора?

Монахи в смущении молчали. Утверждая власть Неба, как высшую субстанцию, которой все должны быть покорны, они опасались сказать прямо, подобно шаману с берегов далекого Байгала, где со времен хуннских народов поклоняются чуждому каменному кресту, что необходимое человеку при жизни, после смерти бессмысленно, ни нужды, ни потребности. Да и не важно, для чего душе, покинувшей износившуюся телесную оболочку и воспарившейся в невесомое пространство миров, нечто материальное? Как императору, пока он живой, скажешь такое?

Старец-шаман, полгода назад доставленный воеводой Чин-дэ по приказу императора из-за Саян, грустно изрек:

– Они боятся тебя огорчить, потому что всегда и всего боятся. Они живут земными потребностями, пугаются дьявола и Шамбалы, восхваляя лишь Небо и твою силу, великий император, у них тяжелая жизнь на земле.

– Тогда зачем нашим монахам потусторонняя жизнь, могущественные и невидимые Шамбала и Агарта?

– Иногда для устрашения непокорных и поощрения слабых владык земной суеты: облизывающие троны владык нуждаются в более сильных устрашениях в виде подземных вместилищ с разожженными огнищами и кипящей смолой. Такой повелитель, как ты, не может не согласиться, что черной зловредной смолы в наших душах достаточно при жизни.

Шаман был умен, говорил без всякого страха, но изрекать подобное при монахах... На Байгале и странном острове белолицего старца Тайцзуну побывать не пришлось. Поднялся на один из Саянских перевалов и вернулся. Не дошел до странной воды, над которой Небо зимою сияет павлиньими перьями.

– Довольно, покиньте меня, – грустно проворчал император и уперся холодным взглядом в старца-шамана. – Бог крепка и ваш огонь, это что?

– Возносящая сила нашего духа, правитель, но ты не поймешь в короткой беседе.

– Останешься со мной?

– Ты умираешь.

– Седобородый старец настолько уверен, что дни мои сочтены? – Император неприятно усмехнулся.

– Не вводи себя в заблуждение, повелитель Китая, ты давно это знаешь и готовишься к встрече с неведомым.

– Но... остался бы?

– Нет, великий правитель Тайцзун, я тебе говорил в первой нашей беседе. Начав служить твоей империи, моя вера и я станем другими.

– Император и вера, шаманы и монахи, подземный мир, которого никто ни разу не видел, и Божественное Просветление... Сожалею, мы мало с тобой говорили, но ваша вера и моя власть могут многое.

– Император, подобное несовместимо! Императорам служат отвага и доблесть. Вера, совесть и честь не могут ни быть на цепи, ни кому-то служить.

– Твоя логическая цепь понятна, имеет право на существование, я бы поспорил.

– Повелитель миров и многих народов, я всегда готов к разумному спору без гнева, но у правителей редко получается...

– Знаю, гнев – проявление бездоказательности. Слышал, как осуждали тебя монахи, не смея говорить, что сказал ты.

– Когда верующие становятся кастой, доказательства и борьба за истину уже никому не нужны, что глупцу никогда не внушить. Не владея знаниями, способностью рассуждать, он владеет иногда властью и силой.

– Да, да, власть и сила губят или создают. Я мечтал создать. – Задумавшись, император замолчал и не скоро спросил: – У тебя есть ко мне просьба?

– Пока ты... Позволь мне вернуться обратно. Потом... Потом не уйти.

Император долго лежал в одиночестве, обступившем странной бесконечностью миров, и уже никуда не хотел.

Вошел воевода-кореец Чан-чжи.

Неуклюже склонившись в приветствии, басисто сказал:

– Мой император, в зале собралось несколько генералов, желающих встречи с тобой. Разреши войти, многие прибыли издалека и любимы тобой.

– Воевода Чан-чжи всегда за кого-то просит. Кто в таком ожидании, что ты пожалел? – досадливо спросил Тайцзун, жестким прямым взглядом смутив генерала.

– Первыми с утра прибыли командующий джунгарскими всадниками тюргешский князь Ашина Мише и князь Ашина Сымо, которому ты в походе на Бохань высасывал кровь после укуса змеи. Он все утро об этом рассказывает. – Чувствуя холодную неприязнь императора, Чан-чжи говорил сухо.

– Сымо! Этот Сымо! – проворчал император, не спуская глаз с генерала. – Он толще тебя, пожалуй, Чан-чжи. Смелый, как дьявол, а змеи напугался. Ты боишься змей, Чан-чжи? – Император вдруг усмехнулся и произнес: – Зови... генералов, ты ничего не боишься, даже змей моего дома наложниц. Заставим Сымо и Мише схватиться на поясах? Кто

победит, на кого ты поставишь?

– Сымо тяжелей, но Мише моложе, – без воодушевления ответил Чан-чжи.

– Ты за Мише? Тогда я за Сымо! Я на Сымо поставлю. – Император был весел.

– Старые они, великий правитель! – сказал воевода. – Будут топтаться да воздух портить, какие из них борцы?

Тайцзун встал на ноги, покачался, поправил длиннополый халат, отороченный мехом куницы, засмеялся:

– Зря не сказал раньше о генералах! Эй, у нас есть мужское вино, способное затуманить разум сильнее красивой рабыни! Подайте вина!

– Названы не все, император, – воевода Чан-чжи замялся. – Недавно прискакали другие генералы.

– Кто, кто? – глаза Тайцзуна ожили, засверкали, он подошел быстрой походкой к воеводе, положил руки на его крепкие могучие плечи, заставив Чан-чжи заметно смутиться. – Ну, говори!

– Ты сердит, император? Но я ни в чем не повинен, и знай, я скорее умру...

– Кто в приемной, говори?

– Мой господин, ты сердит, мне неприятно!

– Кто за дверью покоев?

– Победители маньчжурцев-киданей генерал Ли Цзи и полководец Ляну.

– Ляну-удалец! Не встречались давно! – оживился Тайц-

зун. – Северная армия генерала Ляну в Поднебесной империи лучшая!

– Ты сам ее создавал, император, ходил с ней в походы. Ее называют: «Армия отцов и детей»! – подсказал воевода.

– Хорошо говорят, я слышал. Так должно быть – отцы и дети! А Шэни-генерал тоже примчался? – шумливо спросил Тайцзун.

– Тюркют заиртышской степи Ашина Шэни в походе, ты забыл, император? – удивился Чан-чжи.

– Он успешно его завершил! – произнес император. – Я читал его донесение о победе над карашарским владетелем-лунем. О засаде в десять тысяч всадников под Кучей, которую он взял. За полгода ему подчинилось почти семьдесят разных городов края. К прежнему повиновению приведен весь Хотон. Пришли хорошие вести, испугавшись прихода Шэни-тюрка, образумилась Бухара. Я приказал Шэни передать управление армией и возвращаться.

– Ашины Шэни пока нет, император, – произнес воевода Чан-чжи.

– Жаль, люблю Шэни. Как он сражался против меня рядом с каганом орды Кат Иль-ханом! Вот кто умеет сражаться, достоин высокой чести! Вернется, никуда не пушу, оставлю при военном совете... Этот Шэни...

4. Прощальный звон кубков

Ровно через неделю с первого тревожного утра, в ночь на 16 июля 649 года великого собирателя земель императора Тайцзуна не стало. Неожиданно он отвел странно изменившийся взгляд от старшего сына, с которым вел длительную беседу, обратил его на лекаря, воеводу Чин-дэ, присутствующих друзей-генералов, которые старались казаться веселыми, покачал головой, наткнувшись на потерянный взгляд на командующего дворцовой гвардией генерала Чан-чжи, и громко сказал:

– Чин-дэ, наполни мой кубок, он опустел... Музыку! Музыку! Почему перестали играть?

Воевода, кинул взгляд на лекаря и, не получив запрета, наполнил императорский походный кубок, известный не только китайским военачальникам, но и вождю непокорной когда-то степной орды Кат Иль-хану, с которым он пил из этого кубка на мосту через Вэй под Чаньянью за вечную дружбу. Подал вино умирающему.

– Служите моему сыну, как служили мне. У его деда тронным было имя Гао-цзу. Его внуку дадим – Гао-цзун. – Император опрокинул в себя разом содержимое кубка.

Воспользовавшись шумными восхвалениями в свой адрес, Тайцзун знаком попросил сына склониться, дождавшись, тихо сказал:

– Остаешься править и должен. Здесь почти все, кто поможет. Прошу, будь осторожен с монахами... и рабынями. Красивые из них нравятся не только правителям, но некоторым нашим верным воеводам... Не могу избавиться... Умирать с подозрением тяжело.

Уходящий правитель всегда наставляет кого-то и зря наставляет: наследник был хмур, настороженно замкнут.

– Чан-чжи! – Глаза императора, устремившись в последнем порыве на воеводу-корейца, раскрылись неожиданно шире – и вдруг погасли. Что-то не досказав лучшему генералу-удальцу, ушел навсегда создатель новой, по-настоящему сильной азиатской империи.

Часом позднее молодой ловкий монах по имени Сянь Мынь – учитель изящных искусств и риторик императорских наложниц, – мчался в легком возке по крутым горным дорогам, опасаясь преследования. В углу возка, в страхе прячась под грубое верблюжье одеяло, тихо сидела самая юная наложница Великого Соединителя Земель...

Вскоре прибывший генерал Ашина Шэни, казалось, вдруг потерявший рассудок, не стыдясь, заливался слезами и требовал похоронить его вместе с императором. Генерала уговаривали, пытались напоить крепким вином, чтобы в отчаянии не покончил с собой. Ничего не получалось, чем больше генерал-тюрк пьянел, тем безутешней рыдал. Тогда обратились к старому лекарю. Лин Шу что-то приказал ученику Сяю, юноша сделал питье, и генерал наконец-то надолго за-

былся.

...Минуло тридцать лет. Летом 679 года в Шаньюй, заселенный когда-то Китайским императором Тайцзуном наряду с Ордосом, Алашанью, другими окраинными землями у Великой Стены покорившимися тюрками, прибыла высокая миссия императора Гаоцзуна. Вердикт был суров: тюркский старейшина-князь Ашидэ отстранялся от управления наместничеством, и ему предписывалось вернуться в Ордос, где у князя имелось собственное владение, дарованное когда-то Тайцзуном.

Выслушав решение, прозвучавшее как приговор, князь усмехнулся:

– Я был последним тюрком на Желтой реке, управлявшим собственным народом. Подчиняясь воле императора Гаоцзуна, сегодня покину Шаньюй.

Голос князя был строг и сдержан.

На выходе из просторной залы старейшина-князь обернулся.

– Позволю спросить, – обратился он к руководителю миссии, главе императорской Палаты чинов, – есть ли указ о моем преемнике?

– Есть указ, есть новый наместник, – ответили князю.

– Тот, кто сменит меня, конечно, не тюрк?

– Князь, ты давно не в Степи, ты в Китае, – последовал новый пренебрежительный ответ, быть может, положивший

начало тому, что вскоре случилось.

– Жалею, что пережив славные времена народоправства, я не в Степи и стар, вернуться! – не сдержав обиды, воскликнул будто бы вмиг состарившийся князь, и дальше на выход шел сторбившимся.

Странной бывает судьба нечаянно искренней мысли, но именно эта, слетевшая с уст тюркского князя-ашины: «Жалею, что я не в Степи», оказалась подобной огню в лесном буреломе. Менее чем через месяц в наместничестве вспыхнуло массовое тюркское возмущение.

Ну, а у всякого подобного действия своя судьба и вожди, начало его и конец...

«Поднимая восстание, тюрки пошли на безнадежную авантюру: они были в центре государства и окружены врагами со всех сторон, у них не было ни тыла, ни союзников, ни численного превосходства. Они сами этого не могли не понимать и все-таки восстали! – спустя много и много лет воскликнет в неподражаемом изумлении любопытствующий историк. – При этом ни китайские, ни тюркские источники не говорят об обидах или невыносимом угнетении. Древние сообщения прямо говорят, что тюрки выступили не ради улучшения своей жизни, а ради дикой воли и власти. Не думая отдавать государству Табгач (так в Степи называлась по-старому северная часть застенных степных пространств) свои труды и свои силы, тюркский народ (turk budun) говорил: „лучше погубим себя и искореним“. И они

пошли к своей гибели».

Рядовое, обычное происшествие в жизни людей, по сегодняшний день не научившихся решать иначе вопросы мира, взаимного уважения и равноправия, послужило началом кровавого противостояния, растянувшегося на пятьдесят с лишним лет.

«Когда говорят о людях, достигших в силу своих личных качеств высокой власти, то обыкновенно вспоминают Наполеона. Следует заметить, что между ним и Тайцзуном Ли Ши-минем много общего. И тот и другой начали армейскими лейтенантами, выдвинулись своими талантами и оба умели привязывать к себе своих соратников. Оба были храбры и умны и сыграли огромную роль в жизни своих народов. Но дело Наполеона рухнуло при его жизни, а дело Тайцзуна пережило его на сто лет. У Наполеона был Фуше, а Тайцзун заявил: „Царствующий не должен никого подозревать, а подозревая из-за собственной слабости – не мстить“. При Наполеоне царило *grande stence de l'Empire*, а при Тайцзуне расцвела культура. Наполеоновская Франция нуждалась в самых необходимых продуктах: кофе, сахаре и т.п., а Тайцзун дал китайскому народу такое изобилие, какого не знали до него. Будировали только конфуцианские интеллигенты, которые упрекали императора в склонности к женскому полу, в привязанности к буддизму, любви к войнам. Конфуцианцы особенно осуждали его дружбу с кочевниками, но здесь они открыли свои карты: идея Империи для них была непри-

емлема, они не хотели дружбы с тюрками и монголами и сочувствовали старой политике дома Суй, несмотря на то, что знали ее последствия. Престолу новой династии Тан было не страшно брюзжание нескольких грамотеев, так как императору верой и правдой служили все кочевые войска, а популярность его в народе не имела сравнений...» – Напишет один из ученых мужей спустя тринадцать веков о человеке и властелине, создавшем эпоху, которая столь неожиданно начала рушиться...

Умно и безнадежно глупо люди рассуждают чаще всего о войне, хотя понимают, что всякой войне в мире разума – маленькой и большой, «освободительной» или «захватнической» – ни оправданий, ни снисхождений, ни, тем более, восхвалений быть не должно. За всякую насильственную смерть должно следовать жестокое немедленное, неизбежное наказание.

За всякую. За любого погубленного солдата и гражданина. Что же с разумом людей, сколь еще умирать за пустые, по сути Великого Смысла, идеи мелких земных богов и вождей? За кем следующим, под каким «светлым» лозунгом эфемерного счастья им снова идти насиловать, рушить чужое?..

Почему для каждого народа велик почти всякий «свой» вождь, кто жестоко, победно в прошлом сражался?

Нет ответов на это и в священных писаниях, зато о гнете от войн, «справедливости» войн, неизбежности войн, о бо-

жьей войне – конце Света, предостаточно...

Отдавая дань памяти прошлого, стоит ли его поощрять и возвеличивать?

Нужно ли возвеличивать само грешное бытие человека?

Глава первая. Дворцовые тайны Чаньани

1. Монах и забавы принца

Дворцовая трехъярусная зала большого императорского совета была переполнена. Шаньюи-князя и вельможи первой руки, сановники, прочая высшая знать Поднебесной, посланники ближних и дальних народов, знающих заранее свое место на одной из этих вместительных площадок, томились ожиданием выхода Божественного Владыки. Поднеся ко лбу руки, соединенные ладонями, согнувшись в почтительном поклоне, они замерли, каждый на коврике, не смея роптать, изнемогая в истоме надежд и опасений, внутренне трепеща от божественной силы, которая вот-вот пригнет к самому полу. Среди них не было и не могло быть недовольных, здесь собрались только покорные.

На своеобразном алтаре главного подиума залы, освещенной тысячами жирников и лампадок, возносясь над ярусами и специальными боковыми площадками, тускло мерцали два царственных трона, сотворенные искусными ваятелями из черного дерева и слоновой кости. Каждый стоял на массивных приземистых ножках, изображавших сплюснутые головы драконов, усмирённых в меру, но готовых в любое

мгновение изрыгнуть всепожирающий огонь гнева.

В отсутствие царственных особ мрачноато хищные троны владычествовали, кажется, сами по себе.

Высшая власть неподсудна для тех, кем управляет; она не может осуждаться и должна подавлять величием ожидания. Торжественная обстановка, продуманный до мелочей церемониал с эффектами света и звуков, усиливают ее мистическое могущество. Они отрабатываются и шлифуются веками, расписаны до мелочей, заложены в каждый шаг и движение слуг и рабов, призванных возвеличивать ее неустанно собственным напряженным дыханием. Такие важные церемонии не должны нарушаться, но императором Гаоцзуном они нарушались все чаще.

Император был болен, слаб телесно, что не являлось тайной, жил давно нелюдимо. В повседневных делах верховенствовали императрица и монах Сянь Мынь – главный ее дворцовый советник. Вроде бы особенно не вникая, не подписывая указы, не раздавая чины, звания, должности, не вынося смертных приговоров, монах принимал важные решения и получал полную поддержку императрицы, имея свободный доступ к ней в любое время дня и ночи. Об этом опасно шептались, стыдливо уводили глаза.

Подсказав императрице не спешить с выходом, чтобы немного потомить разжиревших вельмож, монах шел по саду к бассейну с беседками, где развился юный наследник.

День был пасмурный. Сильный северный ветер нес над

столицей тысячелетней империи массу песка, степной пыли. Земля изредка вздрагивала от приглушенных раскатов далекого грома, словно Небо сердито предупреждало бегающих и спящих людей о нарастающем гневе. Но дождя не было. Не было мрачных туч, обычно опускающихся под свинцовой тяжестью на островерхие тополя, крыши храмов и пагод с вывернутыми углами, башни крепостных стен Чаньяни, богатые и бедные жилища. Кованные решетчатые ворота, разделяющие город на отдельные территории и закрывающиеся на ночь, оставались растворенными, пыльные базары продолжали шуметь и горланить.

Звонкие голоса слышались в дворцовом саду, среди цветущих кустов и деревьев. Одежды наследника, знатных мальчиков, резвящихся с ним, были просты и свободны, принц выглядел в них не столь худым, неуклюжим и длинноногим. Зато девочки в ярких, воздушных платьицах походили на порхающих бабочек, и каждая пыталась обратить внимание принца именно на себя. Он бегал за ними, никого не выделяя, ловил, дергал за волосы или платьице, падал на траву, смеялся взмахом и глуповато визжал.

Поблизости озорные забавы наследника охраняли бритоголовые служители в белых одеяниях, с длинными посохами. Воины-стражи дворцовой императорской дивизии – одной из восьми дивизий, размещенных в столице с тех пор, как армия Тибета, смяв приграничные китайские гарнизоны, едва не оказалась под стенами Чаньяни, – стояли на отдале-

нии, почти плечом к плечу.

Проследовав беспрепятственно заслоны, монах подошел к стройному военачальнику с черными волосами, схваченными на затылке голубой шелковой лентой, и, унимая одышку, спросил, потирая пухлой ладонью багровый шрам на обритой голове:

– Скоро начнется совет, Тан-Уйгу, наследника известили? Как наши успехи?

– Поручение для меня непривычное, стараюсь, – смущенно ответил офицер, пытаясь перехватить разбежавшегося излишне резвого наследника и сделать строгое замечание.

Мальчик увернулся и убежал.

Провожая его прищурившимся взглядом, монах сказал:

– Будь настойчив, Уйгу, в наших руках будущее великой империи, не забывай.

– Да, учитель. – Офицер низко поклонился.

Ни принц, ни его бесшабашные друзья не обратили внимания на появление монаха, но девочки явно испугались, их резвость упала. Монах это почувствовал и тонкоголосо закричал, пришлепывая ладонями:

– Ну! Ну! Что скисли, будто на вас напустили стаю собак? Догоняйте, не давайте принцу покоя.

Его шумный призыв не возымел действия, охваченные смущением, свойственным детям, девочки сникли, принц начинал сердиться, больно дергал за косы. Послышались всхлипывания. Офицер хмурился, не решаясь вмешиваться,

но монаху поведение мальчика, кажется, нравилось. Изредка подзывая то одну, то другую девочку, обиженную принцем, Сянь Мынь хвалил ее за терпение, призывал быть смелой в отношениях с принцем или осуждал за вялость и робость в непонятной игре. Иногда шумным восклицанием он подбадривал самого принца, или наоборот, высказывал и ему недовольство. Юноши затевали борьбу, схватки на саблях и пиках, принц всюду встречал, и ему преднамеренно уступали, заставляя офицера недовольно морщиться.

– Тан-Уйгу, он... У него никакого волнения плоти! – сокрушенно воскликнул монах, и руки его, подсказывающие постоянно что-то принцессам, опустились.

– Принц – мальчик, Сянь Мынь, – произнес офицер, странно взблеснув глазами. – Не спешишь ли сделать его мужчиной?

– Только познав прошлое, устремляйся в будущее, – туманно изрек монах.

– Я создаю гибким и сильным тело наследника, ты, монах, его разум, – сухо сказал Тан-Уйгу. – Я окружаю его теми, с кем он взойдет на трон, будет достойно править, но твои заботы необычные.

– Озабоченные чувствительностью царственной плоти, ее увлечениями, озабочены будущим самой Поднебесной империи, – высокомерно проворчал монах. – Чувственные слабости монархов рожают государственную слепоту. Пусть с детства познают всякую слабость, охладеют и привыкнут,

как привыкают к приятной или неприятной пище.

– Женская плоть только пища? – будто бы удивился офицер-наставник.

– Одно от другого – как посмотреть, Тан-Уйгу. Как посмотреть! Что надо одному в другом? Все мы кому-то пища. Попробуй дать, а потом отобрать, – неохотно, несколько скованно произнес монах, продолжая поглядывать в сторону принца.

Офицер усмехнулся:

– Монах утверждает, что женщина не должна вызывать желания и доставлять наслаждение?

– Я говорю о повелителях, для которых желание обладать женщиной должно стать обычной грубой пищей, не затрагивающей царственного ума. Как бы само собой, пришло, удовлетворило и удалилось. Безудержные вожеления и безумный эфир в голове приводят к печальным последствиям, Тан-Уйгу.

И все же, насколько понял наставник наследника по боевым искусствам, дворцовый священнослужитель думал уже не о принце. Острый взгляд его потух, глаза совсем сузились, словно бы он погружался в легкую дрему. Тонкости поведения монаха, были знакомы воспитателю наставника, именно в таком состоянии советник императрицы принимал самые ответственные решения, и офицер почтительно промолчал.

Прежде чем получить высокое назначение, тюрк-офицер прошел строгий отбор. Он победил в нескольких опас-

ных поединках, точнее поразил мишени стрелами, выстоял с двуручным мечом в упражнениях высоко на канате, показал глубокие исторические знания о судьбоносных походах и битвах. Доказав, что не плохо разбирается в мировой картографии, выдержал изощренный допрос придворных летописцев на знание прошлого не только Поднебесной, но и ближайших соседей, чем склонил окончательно чашу весов в свою пользу. Выбранный не без колебаний лично Сянь Мынем из последних трех кандидатов, представленных на мимолетный окончательный суд императрице, он служил при дворе второй год, и находился под неусыпным наблюдением Сянь Мыня. Ни мать-императрица, ни властвующий отец воспитанием старшего принца, как и второго, малолетнего Ли Даня, почти не интересовались, всем занимался монах, все лежало на нем.

Впрочем, и Сянь Мынь, сосредоточившись лишь на старшем наследнике, воспитанием младшего почти не занимался, передоверив монахом. Ли Дань большую часть времени жил в монастыре и братья встречались редко, но если судьба сводила их под родительским кровом, рождалась неизбежная ссора и обычная драка, вынуждая монаха к решительным действиям. Причем, непременно на стороне старшего, внушая младшему быть покорным будущему правителю Поднебесной...

– Ты хочешь что-то сказать, Тан-Уйгу? Тогда возражай, почему замолчал? – произнес монах, поразив офицера про-

нищательностью.

– Да, мой учитель, я не настолько сведущ в воспитании детей, но хочу выразить несогласие, – заговорил Тан-Уйгу осторожно, и сказал как бы в оправдание проявленной смелости: – Беседы с тобой помогают иначе увидеть себя, и поменяться к лучшему.

Восточная лесть коварна не всегда приметной обольстительностью и безотказно действует на подсознание. Она ненавязчива для того, кто впитал ее с молоком родительницы, не утомляет, как состязание, даже когда ее много, но Тан-Уйгу редко злоупотреблял качественной стороной лизоблюдства, и тем ощутимей был результат. Сянь Мынь самодовольно расслабился и произнес:

– Разум по-настоящему крепнет в споре с собой, в споре с другими твой разум подобен лисе. Вот и мужай вместе с принцем, становись крепче на ноги, я помогу нужным советом. – Заметив прихрамывающую принцессу, он строго прикрикнул: – Инь-шу, сладенькая любимица великой У-хоу! Неужели уступишь кому-то принца, огорчив любящую тебя госпожу! Иди, не хромай! Беги, верещи, как птичка летай! Заставь юное сердце будущего императора затрепетать! Тебя не учили настолько простому? Посмотри, как другие проворны? – И снова, словно стряхнув дрему, подавлявшую минуту назад, монах обратил расплывшееся в улыбке лицо к офицеру: – Говори, говори, Тан-Уйгу, и думай только о Ли Сяне! В нем твое и мое будущее, не забывай. – Лукаво со-

щурившись, вдруг спросил, театрально указывая в сторону визжащих рядом девочек: – Помни, ты выбран наставником принца по боевым искусствам. Где его боевой дух в этих сражениях? Не вижу, не вижу, но придет час, спрошу.

Должно быть, приняв непростое решение, монах на глазах ободрился, уже излучал благодущие, был доволен собой. Тан-Уйгу решил закрепить успех и воскликнул:

– Я помню, учитель, из многих ты выбрал, меня, постараюсь не подвести.

Восклицание офицера было искренним, монах сдержанно улыбнулся:

– Я увидел в тебе не силу руки, равной которой нет у других молодых офицеров, не твердый взгляд и не знания, которые заставили потупиться искушенных экзаменаторов, а свое прошлое, устремленное в бесконечность. Ты жаждешь власти, едва ли подозревая о том, и ты осторожен. Будь всегда рядом, наш общий дух возвысит нас на благо Поднебесной.

– Я – тюрк, инородец! – в порыве откровенности воскликнул офицер и оборвал себя.

– И я не китаец, – усмехнулся монах доверительно, почти простодушно.

– Времена изменились, Сянь Мынь, – вздохнул Тан-Уйгу, и в его глазах проступила глубокая грусть.

– Тебе что за дело, они обязаны меняться! Думай: кто их меняет, зачем. Умей угадать – не способный сам изменить.

Ты стал наследнику ближе всех; он скоро взойдет новым солнцем Востока, ослепляющим взоры смертных! Кем станешь ты, подумай! Приближенным из приближенных, имеющим власть наставлять и... расставлять!

– Принц любит старые времена, хочет знать прошлое, я бываю в затруднении. Для него нет запретного, – с уклончивой сомнительностью произнес офицер.

– Знаю. – Монах засопел недовольно. – Влияние историка с высохшими мозгами Цуй-юня и его писанины, которую давно надо сжечь. Но ты не глуп. Слушай, включайся в споры, настаивай. Смелей, не уступай никому наследника и достигнешь нужных высот, не забывая меня в близкой старости.

– Учитель, я воин! – воскликнул офицер. – Наставлять, подобно тебе, не могу.

– Что первично в живом, Тан-Уйгу? – Нравоучительно воскликнул монах и строго продолжил: – Тело, часть плоти, истязаящей себя вечной похотью. Телу холодно – оно посылает просьбу сознанию. Тело жаждет пищи, сна, забавы – сознание находит путь к утолению неистребимой жажды. Богатство, тщеславие, царственное высокомерие: такие устремления – предел ничтожных. Женщина, власть – устремление сильных. Желание женщины выше желаний власти, богатств, не так? Тогда научись управлять самой женщиной.

– Не совсем... Я не совсем согласен, – Офицер сохранял настороженность.

– Абсолюта нет в любом понимании истины, будь это истины Кон-фу или Будды. Наш разум достаточно разит и подготовлен к возможному противостоянию, но тело не знает и не узнает. Оно жаждет! Ему наплевать! Оно яростно просит, подчиняя себе уступчивое сознание. Опережая час неизбежного, мы помогаем наследнику познать самого себя. Скоро мы женим его, кто тогда будет над всеми? Думай, Уйгу! Думай, пока время на нашей стороне, не упусти...

Намеки монаха в отношении собственного будущего, его опасения по поводу женщин, правящих династиями, были и неожиданными и более чем откровенными, но не возымели действия, на которое, были рассчитаны. Смуглое лицо Тан-Уйгу напряглось, в глазах промелькнула настороженность, несколько озадачившая монаха. Несмотря на относительную молодость, тюрк был явно не глуп, привлекал дворцового священнослужителя. Его быстрый, цепкий взгляд, кажущийся покорно уступчивым, вводил в заблуждение, но, схватывая многое на лету с полуслова, был способен проникать в собеседника гораздо глубже, чем предполагал сам собеседник. В нем угадывалась большая внутренняя сила и привлекавшая монаха и настораживающая. Но в превосходстве своем Сянь Мынь, конечно же, не сомневался; ему нравилось общаться с незаурядно мыслящим тюрком и он, не без основания считая себя его главным опекуном и учителем, часто поощрял к действиям, обозначая лишь конечную цель и не объясняя ее скрытый смысл. Император был стар

и бездейтелен, в жизни государства назревали значительные перемены. Разумеется, под его руководством, как высшего столичного священнослужителя. К ним нужно было подготовиться заранее, для чего нужны очень преданные и толковые люди. Много умных, незаурядных единомышленников, способных к решительным действиям в новых условиях. К действиям, указывать на которые станет он, верный сын Будды. Но таких людей становится меньше и меньше; не испытывая нужды в слепых исполнителях, монах очень нуждался в способных думать и только потом совершать. И даже – не потом, а когда последует его команда.

Молодой тюркский офицер казался таким, с ним стоило повозиться. Как инородец претендовать на многое не может, но стараться ради собственного благополучия обязан. И если действительно не дурак, со временем будет стоять дюжины нынешних высших сановников и генералов...

К сожалению, учитель чаще слеп, чем прозорлив, в отношениях с учеником, на которого возлагает большие надежды.

– Разум телу – ты так считаешь, Сянь Мынь? – Лукавство, незаметное для монаха, взблеснуло снова в глазах офицера.

– Именно. Управлять духом, страстью, телом сложнее, чем армией, воинством. Сила правителя – не в армиях. Она – в его воле, решительных действиях, направленных на опережение противника.

– Многим ли нужен такой сильный правитель! Ты не драз-

нишь меня, учитель? – приподняв широкие черные брови, с прежним лукавством спросил Тан-Уйгу.

Монах был увлечен, поведение тюрка его не интересовало; он твердо произнес:

– Управлять глупым – необходимость, служить умному – потребность. Не каждый из множества одинаково востребован и глупым и умным, но кто-то нужен всегда. Не так? Каждый из нас кому-то необходим. Не думай, как навязывают, думай, перемешивая и перемешивая в себе. Ищи выгоду, не переступая черты здравомыслия. Страсть давит на разум и чувства, поработая тело. И то, и другое вечно в плену, устроенном самим человеком – еще возразишь? Мужчине нужна женщина, женщине – мужчина. Разве принц – не мужчина по плоти?

Монах сказал больше, значительно больше, чем должен был. По опыту дворцовой жизни Тан-Уйгу опасался всегда вышестоящих, которые вдруг начинали откровенничать с ним, требуя ответного доверия. Коварство тем и коварно, что у него ни правил, ни пределов – инородцу это не знать?

– А монахи и старцы? Провидцы и праведники? Добровольно страждущие и усмиряющие себя? Ты сам, наконец, Сянь Мынь, и сила в тебе? – нарочито простодушно вопрошал Тан-Уйгу.

Возбужденный недавней беседой с императрицей, которой внушал, как дальновидней вести важный совет, – именно ей, не Гаоцзуну – продолжавший строить другие близкие

и дальнесрочные планы, монах был в ударе собственных откровений, охотно подхватил новую мысль.

– Можно бороться, можно противиться, можно себя оскотить. Можно, можно, можно! Но нельзя победить то, что посылается нам в голову телом, – говорил монах, хотя, не вступая в противоречия с саном, так говорить не пристало, и не без удовольствия слушал себя.

– Что разрешено каждому из нас, Сянь Мынь, я в замешательстве? – спросил Тан-Уйгу.

Вопрос пришелся монаху по нраву, он произнес:

– Ты умней, чем я думал. Толпу можно всегда изменить, повелевая ленивым и тупым сознанием, а Бог создал на наше счастье людей в массе своей именно такими, от чего никуда не уйдешь. Стань способным приказывать, не выражая сомнений. Готовясь отнять жирную кость, готовь сладкое слово, доверив прокричать кому-то другому. Добьешься, сильно желая.

– Сейчас в тебе говорит не монах, Сянь Мынь.

– Монах – тот же евнух. Умерщвляя часть своего существа, монах усиливает остальную его часть и становится... тем, кем становится. Многие из нас – обычные евнухи в том, что касается собственного сознания, не понимающие этого, к сожалению. Да, в общем, любой человек в чем-то евнух. Упорно отвергающие простую истину потому упорствуют, что признание ее лишает надуманного величия и пустого тщеславия. Кто монах без величия – бурдюк с кашей, пу-

стышка. Не зная истины, он не столько ищет, сколько пытается доказать, принуждая поверить искуснейшему в доказательствах. В пагоды и кумирни приходят, чтобы поверить.

– Как сейчас я должен поверить искусству твоего красноречия? – офицер добродушно усмехнулся, вновь поразив монаха способностью тонко понимать собеседника и готовностью, не унижившись, уступить в подходящий момент.

– Вот как, я буду с тобой осторожней! – самодовольно воскликнул монах, словно поощряя, и строго произнес, возвращая беседу в прежнее русло: – Наследнику надо скорее помочь в выборе царственной розы. Очень подходит Инь-шу... Любопытно, я только сейчас подумал о ней! Ее корень в старой династии, родитель во главе Палаты чинов!.. Но и Вэй-шей очень приятна, тебе не кажется? Инь-шу и Вэй-шей! Инь-шу и Вэй-шей! Вот задачка, Уйгу!

Взгляд монаха стал испытующим и холодным, и не был направлен в упор. О-оо, этот взгляд – будто мельком и мимо! Тан-Уйгу его знал и ответил не менее холодно:

– Я тренирую руку, глаз принца-воина, другие заботы совсем не мои.

Холодный ответ офицера понравился монаху, но не удовлетворил, Сянь Мынь произнес:

– Старость не может услышать молодость прежней горячей кровью, она способна ошибиться. Присмотрись к этим девочкам, Тан-Уйгу, потом снова спрошу. Инь-шу и Вэй-шей! Но князь-родитель опасен приверженностью к старым

временам, канувшим в Лету. Очень опасен... И все же, скорее, Инь-шу.

Задумавшись, монах замолк. Молчал и Тан-Уйгу. Оставаясь каждый в себе, они продолжали внимательно наблюдать за принцем, детский разум которого беззаботно воспринимал только солнце, запахи сада, ласковый ветер, и оставался неспособным пока поддаваться прочим житейским соблазнам. Кровь его возбуждалась желаниями мальчика, но не мужчины.

Будто стряхивая минутное оцепенение, Сянь Мынь устало сказал:

– Великая обеспокоена, Гаоцзун быстро стареет – я только что с ней говорил... Мальчику скоро быть императором.

* * *

Беседа молодому офицеру показалась не то чтобы странной – Сянь Мынь имел склонность к многосложным наставлениям и поучениям, – она показалась нарочито двусмысленной и предостерегающей. Она требовала не столько быстрых ответов, сколько необходимых монаху и воспитателю принца невольно задумался. К счастью, подбежал запыхавшийся офицер дворцовой стражи и, низко поклонившись, произнес, что наследнику пора в тронную залу.

Изменив осанку, только изображавшую подобострастие и повышенное внимание, наставник поспешно шлепнул в ла-

доши.

– Наследника трона тысячелетней империи ожидают на заседании военного совета, – произнес он громко и властно.

– А ну их, – нисколько не смутился принц, занятый азартной погоней за одной из принцесс и, нагнав, столкнул в бассейн, торжествующе заверещав: – Ага, убежала! Не убежишь, попробуй теперь выбраться!

До бортиков было высокогато, девочка судорожно барахталась под стенкой бассейна; принц не позволял ухватиться за гладкие камни и торжествующе вскрикивал:

– Ой, ой, глядите на нее! Она даже плавать не умеет. Дрыгается как лягушка.

– Ты становишься грубым, принц, – раздраженно произнес наставник, решительно подвинув мальчика в сторону и помогая принцессе выбраться из воды. – Власть отца над детьми безгранична, ты разве не должен спешить на его зов, отринув забавы немедленно?

– Тан-Уйгу, я не люблю слушать умные речи, я засыпаю. Иди, и расскажешь. Эй, мокрая кукла, куда? – полный азарта, принц ухватил девочку за мокрое платьице.

Он грубо, неловко ухватил принцессу; поскользнувшись на траве, девочка упала на спину. Испуганно задергала ногами, пытаясь собраться в комок. Принц вдруг замер, носком сандалии приподнял до колен девочки мокрое платье, зло-радно расхохотался.

– Так, так! – прикрывая рукой смеющиеся губы, удовлетворенно воскликнул монах.

– Что там, Ан-ло? Что у тебя? – потешался принц.

– Видишь, как просто, Уйгу! В человеке все просто, – говорил Сянь Мынь, поспешно удаляясь.

Голова монаха, похожая на гладкий шар, блестела. Страшный шрам, сбегаящий по затылку почти до шеи, был розовато-теплым и вовсе сейчас не страшным.

Выждав, пока Сянь Мынь отойдет подальше, Тан-Уйгу сказал укоризненно, строго:

– Принц дерзок постыдно! Не хочешь быть воином чести? Я доложу всесильной матери-императрице, отправляйся под надзор строгих монахов.

– О, Тан-Уйгу, – мальчик досадливо и несколько наигранно вскинул руки, – только не это! Что постыдного, что всем известно? Тан-Уйгу, ты обещал мне новых друзей, способных помочь в учении, а присылают княжеских недотеп! Они поддаются нарочно, ну чему так научишься?

Способность юного принца подражать невозмутимости взрослых и произвольно менять тему беседы, задела самолюбие, подумав, что неплохо поступать сходным образом и не став продолжать нравоучения, наставник сухо сказал:

– Они скоро будут. Из Ордоса и Маньчжурии. Я сам поеду за ними.

– На севере беспокойство, у твоих тюрок, как ты поедешь? – спросил принц, с любопытством взглянув на на-

ставника.

– Успокоится мятеж, и поеду, – не выдавая волнения, ответил ровно наставник, конечно же, тайно сострадающий соплеменникам, ввязавшимся в кровавую драку, в которой они неизбежно погибнут или будут схвачены, как бунтовщики, и безжалостно казнены.

Впрочем, сочувствовать и сострадать возмущившимся тюркам-сородичам для него не означало полностью поддерживать, но сведения о восставших были крайне скудны. Князя-старейшину ашину-Ашидэ, называемого главным смутьяном, он знал хорошо, был дружен с его старшим сыном, поднявшимся до столоначальника в Палате чинов, и за юношу опасался.

– У них за вождя Баз-каган? – допытывался Ли Сянь.

– Баз-каган управляет телесскими и уйгурскими народами, которые сейчас в Степи у Байгала самые главные, а возмутились тюрки на Желтой реке. Может начаться в Ордосе и в Алашани – наставительно произнес Тан-Уйгу.

– Ты тоже тюрк, Тан-Уйгу?

– По крови отца – тюрк, – ответил наставник и нахмурился, ожидая неприятных вопросов.

– Тогда почему ты не с ними? – спросил наследник, подняв на Тан-Уйгу глаза полные детского недоумения. – Кому у нас нужны тюрки? Когда ты не нужен, сам ищешь дорогу.

Рассуждения принца были более чем опасны, монаху лучше не знать; перебивая Ли Сяня, Тан-Уйгу сказал, пытаясь

увести разговор в сторону:

– Когда-то твой дед, император Тайцзун, заставил нас, диких детей Степи, посещать его мудрые школы. С тех пор я нашел свое и благодарен.

– А те, кто в Степи, ничего не нашли? – разочарованно спросил наследник.

Сердце Тан-Уйгу заныло: нашел, не нашел! Как объяснишь мальчишке, который едва ли понимает, о чем спрашивает?

– Не всё однозначно, мой принц, в жизни есть черное, белое, и есть серое.

– Историограф Цуй-юнь хвалит тюрков, рассказывает о генералах, среди которых были удалцы. Почему ты ничего не рассказываешь, Тан-Уйгу?

– Поговорим, успеем еще, сейчас поспеши на совет, – преодолевая волнение и странное беспокойство, произнес воспитатель Тан-Уйгу, уступая дорогу будущему повелителю срединных земель Поднебесной.

2.В тронной зале империи

Разными способами властвуют правители, и не все только грозно. Император Гаоцзун в прошлом любил управлять и повелевать без излишней жестокости, и царственная надменность в нем особенно не выпирала. Перемены произошли с появлением во дворце юной Цзэ-тянь. Всяче-

ски угождая любимой наложнице, возвращенной из монастыря не без согласия законной императрицы, он стал казнить и миловать уже по ее подсказкам, уверенный, что этого хочет божественная высшая сила. По понятным причинам придворные сановники были другого мнения, но кто станет прислушиваться к ним? Исполняя императорскую волю, чиновникам постоянно приходилось считаться с той, кто, затуманил разум Гаоцзуна еще при жизни его отца. Вернувшись во дворец в окружении монахов совсем не смиренной послушницей, она продолжала управлять слабовольным императором и хищно властвовать, достигая новых высот и желанной независимости. Как следует помучив, вынудив его «облизывать тычинки лотоса» или «забавы с киской», к чему ее приучил изощренный монах Сянь Мынь, убедив, что это единственный способ управления самонадеянными и жестокими мужчинами, пустив, наконец, слабовольного императора на свое ложе, понеся от него и, родив Гаоцзуну сначала одного мальчика-наследника, потом, под загадочные перешептывания, другого, что никак не удавалось самой императрице, рожаящей только мертвых детей, она стремительно набирала силу. Не прошло и трех смутных лет, как наложница по имени Цзэ-тянь стала называться новой императрицей У-хоу, избавившись не без помощи монахов от госпожи, опрометчиво впустившей ее во дворец и покои. Но император как-то быстро сник, увял и состарился, утратил интерес к делам, теперь с ним считались, лишь внешне, напряженно

прислушиваясь к любому вздоху и самому незначительному движению Солнцеподобной У-хоу. Словно бы в издевательство над грубым мужским сословием, унижавшим ее столько лет, и торжества женского превосходства, властвующая императрица, увлеченная далекими событиями великих предшественниц Египта, ввела в придворный этикет этот церемониал обязательного «облизывания тычинок лотоса». Искусная картина с фаворитом-любовником, стоящим перед ней на коленях во время официального приема и облизывающего ее обнаженные гениталии, была на самом видном месте при входе в ее апартаменты, выставленная для всеобщего обозрения.

Свободные шелковые одежды китайского императора скрывали особенности его фигуры, и лишь немногие знали, насколько Гаоцзун худ, невзрачен телесно. Отрешенное лицо императора, напомаженное, напудренное, с подкрашенными редкими усами, длинной седой бородкой, выглядело абсолютно бесстрастным. Императорская чета на троне напоминала два неподвижных каменных изваяния. Правда, движение мысли в У-хоу выдавал острый взгляд. Он проникал всюду, пригвождал, постоянно тревожил присутствующих в зале вельмож, наместников-генералов, прочую знать, допускаемую на совет.

Доклад военного канцлера-шаньюя был, как всегда, витиеват и велеречив. Начал он с положения на тибетском направлении, где после кончины правителя-цэнпо и возник-

ших в Тибете внутренних распрей накал военных действий заметно снизился. Затем воздал должное полевому генералу Хин-кяню, бескровно пленившему джунгарского хана-изменника Дучжи, представив совету самого генерала. И только затем канцлер перешел к вопросу, ради которого в основном был собран совет, озабоченно заявив, что теперь куда опаснее положение на северных границах державы, где возмутились тюрки бывшей Степи, когда-то переселенные прежним правителем в приграничные области Поднебесной.

Он так и сказал небрежно, как для пробы, не спуская глаз с императрицы: «прежним правителем». Удовлетворение Ухоу не осталось незамеченным не только канцлером, как и неподдельный интерес к представленному генералу с приятно суровым обветренным лицом, сохранявшим утонченные очертания. Внимательно следящие за каждым движением императрицы возбужденно переглянулись.

Правом восседать на мягких пристенных лавках обладали немногие; большая часть членов совета, тем более приглашенные, располагались на грубых циновках. Вместительный овальный зал был заполнен; взгляды устремлялись к подножию массивного трона из черного дерева с позолоченными драконами на подлокотниках. Императрица могла видеть всех, но чаще глядела в сторону генерала Хин-кяня.

– Ордосский старейшина Ашидэ, когда-то заручившийся благосклонностью прежнего правителя, благоволил к восставшим в Шаньюе, мы в ожидании неприятных вестей

из Ордоса и Алашани, – скучно и монотонно закончил канцлер, не удержавшись от упрёка в адрес бывшего повелителя Поднебесной.

– Ошибки правителя дорого стоят его терпеливому народу, – неприятно скрипуче произнесла императрица, снова задержавшись взглядом на генерале Хин-кяне. – Исправив многие прежние, исправим и эту. Повтори нам лучше легенду о принце Ашине и тюркской Праматери-Волчице, – подумав немного, произнесла она резко. – У диких народов и сочинительства из времен дикие.

– Солнцеподобная, я уступаю честь донести до твоего божественного слуха миф о далеком прошлом мужу более достойному в познании древности! – воскликнул канцлер, удовлетворенный, как прошел доклад. – Среди нас куда более искушенный в истории предков, твой летописец Цуй-юнь!

Источая преданностью, канцлер низко поклонился.

– Он старый и вздорный – этот историограф. В хрониках наших деяний он постоянно путает имена далеких народов, названия старых крепостей, количество наших побед и восхваляет вовсе не тех, кого следует. Нам приходится его поправлять, – недовольно произнесла У-хоу, вызвав испуг на лице канцлера. – Где он? Что скажешь, выживший из ума? – строго спросила она, взглядом отыскав крепкого старца-летописца, оказавшегося за спиной Хин-кяня.

– Я знаю не больше, чем знают другие, но больше каждого в отдельности, – сердито отозвался историк. – Как очеви-

дец, я сообщаю будущему, что видели мои глаза и слышали уши. Мои хроники составляются не хитрым разумом, а совестью души. Историограф не может лишь услаждать, иногда его слова подобны полыни – так что из того, мудрая и справедливая? Прикажешь выжечь полынь?

– Не дерзи, твоя голова на шее не крепче других, – обрвала его императрица.

– Цуй-юнь – тень великих деяний твоего времени, дочь Справедливости! Чем ты опять недовольна? – старец поклонился императрице.

– Старческой болтливостью твоего усыхающего ума. Ты написал недавно, что силы Тибета огромны. Как ты их считал, не покидая дворца?

– Слушая доклады твоих генералов, моя Справедливость. Победенный недавно Жинь-гунь и государственный секретарь Линь Цзинь Сюань, едва не оказавшийся плененным, так утверждали в твоём присутствии, совет согласился.

– Он благоволит лишь воеводе старого императора Чан-чжи, Солнцеподобная, – обиженно воскликнул сияющий выпренно парадными одеждами генерал Жинь-гунь, упомянутый историком не с лучшей стороны.

– Чан-чжи? – императрица словно бы вздрогнула. – Что... этот Чан-чжи, он по-прежнему воевода? Ты его знаешь, историк?

– В молодости я ходил с императорской армией, в деле видел этого удальца, состоявшего постоянно при императо-

ре, – горделиво произнес историограф.

– И ты его снова увидел в деле? – высокомерно спросила У-хоу.

– О нем сказано в докладе Военной канцелярии, расследовавшей последнее поражение генерала Линь Цзиня. Воевода с несколькими сотнями пробился к нему в окружение и вывел остатки гибнущей армии. Это не тот генерал, которого стоит внести в хроники? Недавно Чан-чжи с тысячью воинов, опять отличился.

– Уж не доверит ли ему сразу армию? – Императрица пренебрежительно усмехнулась, но любопытство в ее глазах не исчезло.

– Будет достойно воеводы, Солцеподобная, – не сдавался историк. – Когда-то Чан-чжи, если соизволишь напомнить, командовал во дворце корпусом телохранителей императорского семейства Ли, ты забыла?

Упрямство историка, неосторожное напоминание подлежащего забвению, могло вызвать невероятный гнев императрицы, многие испуганно переглянулись.

– В императорских хрониках Чан-чжи возвеличен совсем не по заслугам, – поспешно вмешался генерал-госсоветник Линь Цзинь. – В сражении всегда находится незначительный военачальник с удачной судьбой.

– Отвага старого воина-льва, господин генерал Линь Цзинь, спасшего тебе жизнь, сохранившего остатки твоей разбежавшейся армии, достойны памяти будущих поколе-

ний... Как и твоё поражение, изучение которого полностью не завершилось, – упрямылся гордый старик.

Императрица молчала.

– Солнцеподобная, поражение может постигнуть любого прославленного генерала, но разве ты это желаешь услышать? – подал голос военный министр. – Возмущение на Желтой реке было для нас неожиданным. Подумаешь, сместили немощного наместника! Иностранцы вообще не могут быть наместниками!

– Возмущение подняли все двадцать четыре уезда, Солнцеподобная! – уточнил несговорчивый историк. – Кто утверждает, что возмутились только вожди, говорит оскорбительное царственному слуху!

– Тебя не спрашивают о тюркских вождях, – досадуя на старика и явно пытаясь привлечь внимание императрицы к собственной персоне, воскликнул генерал Жинь-гунь. – Говори, о чем просят.

– Да, говори о степных разбойниках, которым давно нет доверия! Пора хоть что-то услышать. – Взгляд У-хоу погас, черты, будто разом состарившегося лица, заострились.

И тучный монах Сянь Мынь, прячущийся за ширмами, но всегда готовый прийти на помощь своей госпоже, вмиг посерел.

– В свете интересов совета можно сказать много, и мало, – решительно, словно выиграл важное сражение на поле кровавой битвы, произнес летописец. – Зародившись вождя-

ми среди жужаней и сяньбийцев, назвавшись впоследствии тюрками, они не чтят эти народы, вечно сражаются, но чтят хуннов. История не может иметь начало, потому что всегда что-то есть, что было раньше и раньше. Мою науку можно уподобить старухе, которая помнит девочкой более древнюю старуху. Или струе воды, у которой начало все-таки есть – ее исток. Но это начало потока, не самой капли. А капля?.. Или так – струя зерна, в которой каждое семя – есть нечто законченное и среди многих течет в жернова. Так вот, если наши предшественники – зерна потока, тогда я расскажу о начале эпохи пяти варварских племен. Когда случилась Великая Засуха и Великая Степь сошлась в поединке за благодатные земли Срединной Равнины, погибли многие. Из уцелевших сяньбиец Туфа увел свое поколение в Тибет, другой, под именем Ашина, с отрядом в пятьсот семейств, скрылся в предгорьях Алтая. Так зародились Тибетская империя и Тюркский каганат, а равнина по обе стороны Желтой реки, успокоившись, возродила нашу тысячелетнюю державу. Нам известна древняя легенда о первоистоке и принце Ашине. Она повествует о событиях у Змеиной горы в Алтынских горах, где в жестокой битве было уничтожено воинственное племя. Уцелел только мальчик, спрятанный матерью под листьями в норе волчицы. Волчица заботилась о нем, и когда он возмужал, стала женой. Но юношу выследили другие воины и обезглавили: ведь он был последним хуннским принцем и законным владыкой Степи. Волчица скрылась в горах

Гаочина и родила десять детей, старшему из которых дали имя Ашина. Пришло время, принцы взяли в жены лучших гаочинских девушек, заложив начало нового рода под именем ту-кю, то есть тюрк, дети волчицы. Собрав армию, Ашина вернулся на Алтай, под синим знаменем с пастью злобной волчицы, вышитой золотом, занял земли предков у Змеиной горы и на многие годы подчинил пространства Великой Степи от Согда и Мавераннахра до Маньчжурии. Первым правителем-каганом этой могучей и необъятной державы был Бумын с прозвищем Двурогий. Вскоре его брат Истеми, управлявший западной половиной державы и пожелавший сам стать каганом, расколол Степь по Иртышу. А последнего хана орхонских земель, Кат Иль-хана, тридцать лет назад усмирил, подчинив...

– Мы знаем, – не дав назвать имя победителя Кат-хана и своего первого повелителя, властно перебила У-хоу. – Эта легенда полна коварства.

– Можно грубо остричь овцу, но не прошлое, – возразил историк. – Оно, если не в хрониках, то в подобных легендах, остается навечно и пытается нас вразумить. Услышит – кто слушает!

Бунтарский дух старого историографа, без ума влюбленного в свою древнюю науку, и безрассудно стоящего на страже ее священных канонов, был хорошо известен членам совета. В порыве протеста он мог сказать немало опасных слов, и генерал Жинь-гунь поспешил вмешаться, бросив сердито:

– Прошлое подобно ветхим одеждам, живые живут будущим. – Красавец-генерал Жинь-гунь, в последнее время поощряемый особым вниманием императрицы, о чем знали, конечно же, все, высокомерно усмехнулся.

– Настоящее, господин генерал Жинь-гунь, с нашей смертью становится прошлым, – сердито нахмурился историк, гордо вскидывая седую голову.

– Пока мы его готовим и совершаем, оно с нами. Но как мы его совершаем? – снова заговорила императрица. – Вести о возмущении в Шаньюе пришли в прошлой луне. Где наша Северная армия? Где Маньчжурская армия? Из Орды Баз-кагана доносят: посланцы восставших скачут по всей Прибайгальской Степи, возмущая дикарей и призывая в Шаньюй и Ордос. Начальникам Северной линии Сы-цзу, Цземиню и Ю-цзину нужен генерал генералов? Что скажет военной министр?

– Стояла знойная пора, Черные пески у Желтой реки и Великой Стены непроходимы. Мы ожидаем осени, и с возмущением будет покончено, – поспешил заверить министр, напряженно поглядывая на молчаливого канцлера, сидящего на жесткой циновке рядом с генералом Жинь-гунем.

– Два десятка лет назад, ровно через десять лет после смерти того, чье имя ныне не пользуется заслуженным уважением, в тех же Орхонских местах, на Селенге, случилось уйгурское возмущение, забыли? – сердито воскликнул историк. – Подавляя его зимой, мы погубили две армии, а вос-

ставших было менее десяти тысяч!

– Их было сорок тысяч, Цуй-юнь, не так в твоих записях? – Рыжеволосый Жинь-гунь мстительно усмехался, смутив летописца. – Их было сорок, а тюрок? Много ли тюрок?

Восклицание генерала Жинь-гуня императрицу не удовлетворило – ведь эта коварная цифра в благих намерениях была исправлена по ее указанию, историк мог снова сорваться. Недовольно пошевелившись, сердито успокоив ожившего на мгновение Гаоцзуна и, не позволив заговорить, У-хоу произнесла раздраженно:

– Хватит упреков! Нас беспокоят более близкие земли, канцлер. Императора посетили посланцы знатных семейств Ордоса, высокородный князь-наместник просит незамедлительно ввести в провинцию полевые войска Шандуньского направления.

– Усмирить Шаньюй способен обычный карательный корпус тысяч в десять, – напористо заговорил генерал Жинь-гунь, высокомерно взглянув на канцлера.

– Способен! Конечно, способен! Тысяч в пятнадцать! Мы обсуждали, Жинь-гунь, ты изъявлял желание возглавить поход, – воскликнул канцлер, с надеждой взглянув на повелительницу.

– Нет-нет, – возразила мягко У-хоу, – Жинь-гунь нужен в совете.

– Среди нас генерал Хин-кянь, совершивший поход на тюркешского хана Дучжи. Почему доблестному победите-

лю не сходить на тюрок? – предложил небрежно Жинь-гунь, вызвав новую поощрительную улыбку императрицы.

– Направить Хин-кяня? Так и поступим. – Легко разгадав смысл игры императрицы, канцлер мгновение стал решительным. – Великая сама пожелает с ним говорить?

Ответ канцлер не успел получить, вокруг него закричали возбужденно:

– Хана Дучжи! Великая, покажи нам плененного дикаря!

– Хин-кянь молодец!

– Направить генерала Хин-кяня на возмутителей-тюрок!

Он им покажет!

– Награди Хин-кяня достойно, Великая! Ты ничем его не отметила!

Все словно забыли о безмолвном, ссутулившемся императоре, восхваляли только императрицу и генерала Хин-кяня, который явно привлек ее божественное внимание.

– Дикаря! Он тоже тюрк-ашина, У-хоу! Покажи дикаря!

– Пошли генерала Хин-кяня в Ордос!

Лесть вельмож не была для У-хоу непривычной или слишком уж тонкой, но доставила удовольствие; повелительница снисходительно улыбнулась.

– Да, сходи, генерал, потом отметим обе победы сразу, – дольше обычного задержавшись взглядом на воине, не избалованном вниманием высоких сановников, и дождавшись устойчивой тишины, произнесла императрица. Отодвинув бритоголового монаха с опахалом, она заботливо, со стран-

ным выражением лица склонилась к Гаоцзуну. – Император устал, закончим, а утром... Ах, генеральского пленника! Приведите, вынесем приговор.

– Смерть! Изменнику смерть! – взорвалась многолюдная зала, едва, сопровождаемый стражами, в цепях и колодках, с длинными грязными волосами, закрывающими глаза и лицо, показался пленный тюркешский хан Дучжи.

Он был толст, круглолиц, кривоног, в ханских изорванных одеяниях, истерзанный пытками.

Он был бос, оставлял следы грязи и крови на светлых коврах. Наполнил залу ужасной вонью, вынудившей сановников прикрыться платками.

Широкие мясистые ступни его, искусанные, должно быть, крысами, представляли собой кровоточащие раны.

На середине пути хан споткнулся, подняться не смог, и дальше вверх по ступеням его потащили волоком.

Длинные грязные волос закрывали его лицо, хан хрипел.

– Смерть предателю-тюрку! Слава генералу Хин-кяню! – старательно и неистово ревели вскочившие вельможи.

Госсекретарь, военный канцлер и военный министр, переглядываясь, упрямо молчали. Досадно молчали.

Хмурился, прикусив женственно-тоненькую губу, красавец Жинь-гунь, шумно отдувался, прячась за тяжелыми занавесями, раскрасневшийся от волнения Сянь Мынь, недовольными происходящим оставались генералы и высшие члены совета.

* * *

...Странное чувство испытывал генерал Хин-кянь, привлекая внимание. Высокомерные люди, совсем недавно не замечавшие в упор, теперь раскланивались перед ним, лебезили, заискивали...

3.В подземелье

Водворенный обратно в подземелье, хан Дучжи сидел на грубо тесанной каменной плите, рядом с потрескивающим факелом, освещающим невысокий закопченный свод, крючья, ремни для пыток, и стискивал длинноволосую голову короткопалыми руками.

Его крепкое тело, покрытое струпьями, сочилось кровью и гноем.

Изредка, забываясь, он облокачивался на мокрую стену, покрытую плесенью, стонал и снова выравнивался.

В темной нише-проеме напротив, стараясь не наступить в темноте на снующих, повизгивающих крыс, бесшумно появилась тучная фигура в монашеском желто-красном одеянии, наблюдая за узником, замерла.

Разбежавшись и притихнув на время, крысы снова задвигались, засуетились в поисках пищи, с визгом дрались.

Рядом с босыми, толсто-широкими ногами узника, пли-

той – ложем для сна – и на плите, валялось их много раздавленных, с выпущенными кишками.

Поморщившись от вони, монах сделал еще один шаг, словно под ногами что-то мешало, перекрыл крысиное по-визгивание тонким вкрадчивым голосом:

– Хан утомлен? Завтра он будет казнен и неприятности закончится.

Света на говорившего падало мало. Но достаточно, чтобы увидеть глубокий, шрам, тянущийся через его крупную обритую голову и массивный лоб.

Звякнули тяжелые цепи, железный ошейник. С трудом ворочая вспухшим языком, не в силах шире раздвинуть спекшиеся веки, узник спросил:

– Не вижу, кто здесь?

– Верный слуга Неба монах Сянь Мынь. Я, я, монах Сянь Мынь, пришел навестить отважного хана Дучжи, – раздался вкрадчивый голос.

Коварный голос посетителя был тюргешскому хану знаком хорошо. И не только – голос, они встречались несколько раз, прежде чем коварный советник императрицы согласился на его назначение наместником Кучи. Бывал хан Дучжи в Чаньани и позже, ничем особенным не привлекая служителя Будды и тайного советника повелительницы; монах практически не обращал на него внимания, и если вдруг появился, как предвестник смерти... Но – смерти ли, у монаха нет других важных дел?

По телу узника прошла нервная дрожь; трудом, приподнявшись и закрывая собой тусклый свет чадающего факела, хан мстительно закричал:

– А-аа, пришел Сянь Мынь, я думал, ко мне не придешь и не удостоишь! Монах, который служит Небу! Небу? У Неба единый слуга на земле – Огонь Возносящий! Что вам еще от несчастного хана Дучжи? За что ломать кости, живьем скармливать крысам – в чем я еще не покаялся?

Ноги его не держали, хан покачнулся. Тень, закрывавшая монаха, сместилась и сжалась. Монах улыбался холодно.

Жизнь хан Джунгарии и тюргешских степей прожил непростую. Он был из очень знатного рода, к власти пробивался сам. Как имперского наместника, тюрка по крови, соплеменники в Заиртышые не просто его не признавали, заставляя тайно страдать, но и презирали за службу Китаю. Кто бы знал, как он страдал и терзался своей неполноценностью! Подвернувшийся случай помог заключить выгодный союз с Тибетом, порвать с империей и выступить против нее. В течение лета, разорив и разграбив несколько крупных провинций, тибетские военачальники соединились с его сто-тысячным воинством, выбили китайцев из Кучи. Нуждаясь в поддержке, они настойчиво предлагали пойти на Чаньань и покончить с китайской зависимостью, обещая полную самостоятельность. Хан испугался, ему хватало Кучи, бескрайних пространств Заиртышья, где было вольно кочевать, безнаказанно править, определив дальнейшее. Лишившись под-

держки, тибетцы оказались разбиты; на него, хана Дучжи, укрепившегося в междуречье Иртыша и Оби, был брошена армия генерала Хин-кянь. Пытаясь перехитрить судьбу, хан снова затеял переговоры о мире и, получив приглашение приехать на охоту – разве не знак примирения? – без опаски появился в Куче, где оказался в колодках. И вот конец хана Дучжи близок, монах помочь не захочет!

Собственный крик взбудоражил в нем кровь, железный ошейник сжал горло.

– Хан кричит, раскаиваясь? Хану не хочется умирать? Но хан Дучжи ничтожный предатель! – Монах торжествующе засмеялся, по лицу растекалось умиротворение, шрам его страшный в робком свете факела точно бы розовел.

– Ты лучше, монах? Нисколько не лучше; тебе нет разницы, кого казнить сегодня, кого – завтра! Ты и твоя... И Гаоцзун как слепец! Когда вы его придушите, как последнего...

Долгое ожидание смерти, истязания и пытки смирили дикий норв Дучжи, но удачливый служитель Будды, подмявший всех под себя, к тому же, не китаец, вызывал странную зависть. Зависть, возбуждающую протест и нарушающую психическую устойчивость, здравый смысл поступков и возможных последствий. Не веря в спасение, Дучжи яростно старался разозлить ненавистного монаха, разрушить его раздражающее высокомерное.

Сянь Мынь казался непоколебимым и вкрадчиво произнес, осиливая минутную неприязнь к узнику:

– Способный быть рассудительным и достойно возражать, когда его несправедливо унижают, тюргешский хан покорно ползал у ног великих правителей Поднебесной, выпрашивая мелочные вознаграждения. Он был подобен лисе, умеющей возбуждаться слабыми запахами. Почему заметался сейчас и бездумно кричишь? Это дает новые силы? Я тебе причинил неприятность или ты мне?

– У меня за спиной дыхание смерть, монах, и справедливое Небо! Да коварство генерала Хин-кяня, заманившего многих в ловушку, что еще большее бесчестие, чем совершенное мною! Я был и остаюсь воином и вправе выбирать достойного врага!

– Коварство не только – черное или белое. Хан Дучжи сам был коварен, генерал поступил разумно. Зная твою жадность на власть, он применил хитрость, сохранив немало голов твоему дикому народу.

– Между нами, монах, был договор.

– Ты первым его нарушил, Дучжи, слово твое утратило вес.

Мягкость и вкрадчивость монаха только усиливали гнев и презрение пленника, он в бешенстве закричал:

– Слово – не сабля, им голову не отрубишь!

– За слово не всегда рубят голову, чаще режут язык, – разгоняя застоявшуюся кровь, монах сильно потер голову. – Но ты, твоя конница – вовсе не глупые слова. Они доставляли нам беспокойство.

Сянь Мынь вел себя как управитель, обладающий неограниченной властью, в словах его было мало монашеского.

– Я умею сражаться, мог быть полезным, я ехал к Хин-кяню только за этим! Наш договор должен был сохраниться! – Железный ошейник впивался в набрякшую шею узника, хан захлебывался, рвал длинные мысли на части.

– Хан устал, в его памяти путаница. – Монах нахмурился. – Волею императора, правящего миром, ты попадешь не на Небо! Как изгой, ты последуешь в Черное царство вашего бога тьмы Бюрта. Жалкое тело твое минует огонь, оно станет пищей червей.

– Оскверняя тело кочевника-тюрка и непокорных степных вождей, монахи бессильны осквернить вольный дух, – заскрежетал зубами узник из далеких степей.

– Ханы обнищавших кочевий за Иртышем всегда были слабыми ханами, хан Дучжи самый глупый из тех, кого монах Сянь Мынь видел за последние тридцать лет. Хан только сердится, не желая хорошо подумать.

– Довольно! Я приезжал думать с Хянь-кинем! Зачем ты пришел?

Монах, только монах был сейчас исчадием ада, в котором хан оказался. Только монах, который... пришел говорить с ним последним.

Больше никто не придет, никто не услышит.

– Я – монах, – ответил Сянь Мынь, и ответ его прозвучал неожиданно мягко, многозначительно, по крайней мере, ха-

ну вдруг захотелось, чтобы так было.

Этот ответ, словно солнце, закрытое тучей, таил тепло и... надежду.

– Могло быть иначе, монах, сожалею, что не пошел с тибетским цэнпо на Чаньянь.

– Зови меня Сянь Мынь. Сянь Мынь, удостоенный чести служить великому Гаоцзуну и дочери Будды, Солнцеподобной У-хоу.

– Разделившая ложе отца и сына – дочь Будды и Солнцеподобная? Требующая высокородных облизывать ее лотос, чему ты ее сам научил, как мужчина, не способный на большее? Настолько ничтожна твоя вера?

Проявляя недюжинное терпение и благорасположенность к дикарю, монах произнес:

– Верующий способен убить в себе смуту – в этом его настоящая сила.

– Сначала поддавшись ей, досыта насладившись? – гневался узник, громяхая железом.

– Хан меньше других услаждал свое жалкое грубое тело? – начиная раздражаться, хмуро спросил монах.

– Я не был монахом, я правил живыми.

– Хан управлял кучей мяса, костей, крови, не зная сути духа. Хан жаждал и брал, как дикарь, которому нет разницы, что схватить, отобрать у других. Дучжи привык брать грубо, принуждением. У тебя, хан Дучжи, пустая душа, наполненная страхом.

Способность людей, ощутивших безмерную власть мгновения, возвышаться над собственным ничтожеством не была хану чуждой; он умел самонадеянно возноситься над миром, окружавшим его, покорным его хмурому взгляду, движению руки, и не мог, не желал выносить и терпеть, не чувствуя выгоды, подобного отношение к себе. Падая на колени перед повелителями Китая, он знал, что будет вознагражден за добровольное унижение; он шел сознательно: унижай, но... заплати. Скучный, бесстрастный, имеющий скрытую власть голос монаха будил в узнике сладкие миражи, Дучжи воскликнул с кривой усмешкой:

– А ты не хочешь раскаяться, Сянь Мынь?

– Монах всегда среди живых, ищущих раскаяния. Он служит и учит искать всепрощения, – ровным голосом отдалившегося священнослужителя отозвалась бесчувственная пятнистая мгла.

Стихийный протест крайней озлобленности, охвативший хана, убивал в нем последнюю каплю здоровой рассудочности, делая окончательно слепым и глухим в этой взъярившейся злобе, выпренне бестолковым. Упиваясь страстью ничтожно малого, лишь стремлением причинить любую досаду монаху, доставить беспокойство и разозлить, плохо понимая зачем, пленник гневно воскликнул:

– Кому монах служит, старой блуднице? Ты сам ее создал! Такие, как ты! Похожие на тебя! Оседлав трон Тайцзуна, скачешь верхом на его любимой наложнице, время от времени

передавая другим. Или она сама вас меняет, как беспомощных и надоевших?! Как можно служить такому трону, Сянь Мынь?

В хане все жило концом, ощущением конца, он давно с ним смирился. Но жизнь упорствовала, жизнь в любом ее состоянии, до конца, до последнего часа бьется за право быть и дышать, наслаждаться и гневаться. Словно тайно забавляясь, монах равнодушно сказал:

– Служи императору, ты же воин. Попробуй им забавляться, если сумеешь.

– Не кощунствуй – ты все же монах! Не валяй в одну кучу чистое белье и грязное. Величие Гаоцзуна лишь в том, что он жалок и слеп. Что для него инородцы, далекие земли, иная вера? Великим был его грозный отец, император Тайцзун.

– Князь-ашина, у нас это имя запрещено.

Укоризненный голос монаха по-прежнему звучал мягко, даже участливо, будто хотел успокоить бывшего властелина Заиртышских пространств и дать новые силы. Но не в состоянии противиться гневу, минутному упоению кажущейся независимости, узник снова злобно и беспомощно закричал:

– Оно запрещено в Китае, в степи Тайцзун-деспот остался великим!

Отстаивая свое понимание прошлого, монах нравоучительно произнес:

– Тайцзун ошибался, наполнив Китай инородцами. Подражая кочевым диким нравам, наша знать, особенно женщи-

ны, стала носить одежду шерстью наружу.

– Я знаю, что позволяют себе китайские женщины, побуждаемые своей великой госпожой, рубящей головы всем подряд, как беспощадный дровосек! Он возродил вашу желтую полудохлую империю, сумел помириться со Степью! – не рассчитывая на понимание и только сильнее раздражаясь и раздражая монаха, воскликнул в сердцах, в нескрываемом гневе плененный тюркеш. – Он создавал, понимаешь? Он! Вы пришли разрушать, не являясь китайцами. Ты не инородец, Сянь Мынь?

Монах поднял на Дучжи осуждающий взгляд, произнес с искренним удивлением:

– Какую Степь возвеличивает самозванный правитель? Их давно две. Западная – до Железных ворот Мира, и восточная – от Иртыша до Маньчжурии. Странные вы, князья-ашины! Читите одно, а рубитесь меж собой, утверждая другое. Что нашел хан, изменив императору? Что хан Дучжи выжидал, собрав почти сто тысяч воинов?

Показалось, монах – само миролюбие и склоняет пленника к миролюбию, Дучжи ненадолго задумался.

– Я хотел защитить Кучу, – произнес он, опустив глаза.

– Только, не лги. Когда армия генерала Хин-кяня вошла в дарованную тебе в управление провинцию и расположилась на зиму, ты не проявил особого беспокойства. Более того, согласился принять участие в совместной охоте, примчался, едва не загнав лошадь.

– Я хотел быть полезным Хин-кяню в других походах, сохранив над Кучой власть.

– В походах куда? На север в Хагяс? На восток? На вечных врагов на Алтае, в Саянах, на Орхоне и Селенге? Но хагясы на Улуг-Кеме сильны, вряд ли тебе по зубам, орда Баз-кагана на Селенге под властью Поднебесной... Чего хан ждал, собирая крупную армию? Не того, что в землях Шаньюя?

* * *

Нить подобных бесед, когда один на цепи, а другой настойчиво любопытствует без насилия и принуждения, всегда многослойна, нарочито изощренна. Хан имел опыт подобных бесед, когда сам вел дознания, секреты ее сочленения из множества подвопросов ему были известны, изощренным быть не старался, он выпрашивал, готовясь вынести свой приговор. Холодея, не в силах прельститься возможными миражами спасения, хан словно проснулся.

– Все-таки началось! – Слипшиеся глаза хана приоткрылись, взблеснули не без надежды.

– Началось, началось, Дучжи, – многозначительно и вкрадчиво бросил монах. – Император отстранил от управления Ашидэ-ашину, они возмутились, безумцы.

Только обжигающая искра надежды, будоражащая кровь, осветляет загнанный в угол беспомощный разум; тяжело задыхаясь, узник вскинулся:

– Между Иртышем и Орхоном большая старая злоба, но, признаюсь, я рад! – Помедлив, он спросил, не сумев скрыть торжества: – Начал Фунянь или князь Ашидэ?

– Фунянь, Нишу-бег. Есть безродный Выньбег. Старейшина рода ашинов Ашидэ совсем стар, ему было разрешено вернуться в Ордос, в прежнее княжеское владение. Скоро они кончат, подобно тебе.

– Я слышал о князе Ашидэ и шамане Болу, они до последнего были с Кат-ханом.

– Стар и Болу. Знаю его, силен в своей вере.

– Буддийский монах восхваляет степного шамана!

– Люди веры терпимы друг к другу.

– В словах твоих слышится сладость большой крови, монах. – Овладевая собой, пленник императорского узилища хотел усмехнуться, но только скривился.

– Я – Сянь Мынь. Говори мне – Сянь Мынь.

Со второй попытки хану все же удалось выдавить улыбку на потрескавшихся губах, и будто согревшись, почувствовав ее странную животворность, он спросил:

– Что хочет монах Сянь Мынь, затративший много времени на хана с Иртыша? В его словах видится лисий хвост, не ошибаюсь?

– Есть один князь, мне любопытный, – не спуская жесткого взгляда с Дучжи, произнес обманчиво мягко, монах. – Он твой соплеменник, служит в маньчжурских войсках. Он смел, отважен, хан Дучжи ему враг.

– Кто? – Врагов среди соплеменников у него было много, Дучжи на миг растерялся.

– Князь Джанги, – произнес монах вкрадчиво.

Напуская равнодушие, Дучжи ответил:

– Его имя у нас мало что стоит. Мы знаем о нем, но его с нами нет.

– Ты нарушил обещание правителю Поднебесной, и завтра тебя закопают по шею. Потом, когда, задохнувшись в мучениях, высунешь синий язык, голову с тебя снимут, бросят зверям, а землю над трупом сровняют. В прошлое время правитель Ун-ди таким образом казнил пятьдесят тысяч возмутителей покоя Великого государства. Жаль, у хана не будет подобной свиты, хан скучно умрет. В одиночестве.

Пустая была угроза, ради угрозы. Осторожничая, монах переигрывал, и узник усмехнулся высокомерно:

– В голосе монаха не слышно вражды, зачем он пытается запугать?

Приглушенно и слегка слащаво, монах произнес:

– Чтобы хан был внимательней, когда ему предлагают... если не жизнь, то казнь, более достойную князя-ашины.

– Говори. – Цепь на шее Дучжи натянулась.

– Князь Дучжи, между твоей изменой нам, службой тибетскому государю и возмущением на Желтой реке имеется связь, Ты знал и скрытно готовился? К чему ты готовился, хан? Был сговор? В нем замешан воевода Джанги?

– Жаль тебя огорчать, служитель Будды, но тюргеши За-

иртышья и тюркюты Орхона стовориться не смогут никогда, – ответил презрительно узник.

Сянь Мынь спросил с нажимом:

– Но ты, все же, знал?

– Кто не был слепым, давно был готов к подобному, – с прежней враждебностью ответил Дучжи. – Тюрк не может подчиниться иноземцу. Поняв нехитрую истину, Тайцзун оставил нашим племенам, как и другим инородцам, прежних старшин, но вы с У-хоу заменили китайцами. Да, я готовился. Алтайская часть Степи, Халха – чьи, Баз-кагана? Знатных уйгурских князей?

– Тюргеши мечтают о прежних владениях в Согде и Мавераннахре, зачем вам Алтайские пространства? – вроде бы удивился монах.

– Праматерь-земля у Змеиной горы – тюркский исток, почему там нет моего народа? – не теряя достоинства и высокомерия, произнес Дучжи.

Крысы опять осмелели, с шумом сновали по полу, нахально лезли на каменное сидение пленника. Хан подвинул им что-то, покрытое засохшей кровью, выждал, когда узкие морды вопьются в нежданное угощение, с неожиданной силой ударил ладонью.

Визг был недолгим; монах спросил:

– Князь Джанги имел поручение к тебе от Ашидэ и шамана?

– Моя совесть, монах, не настолько продажна. Тем более,

когда дело касается соотечественника. Среди возмутившихся имя князя Джанги тобою не названо, как я могу называть? – ответил Дучжи, брезгливо смахивая с плиты раздавленные останки крыс.

– У лесных народов Хагяса поменялась власть. Кто такой Барс-бег и какого он рода? – невозмутимо допытывался Сянь Мынь.

– В Хагяс чаще ходят карлуки и басмалы из Приобья, я не ходил, хана-ажо Барс-бега не знаю. Кемиджит, знают все.

– Почему кемиджит?

– Его главное поселение в черни Сунг называют Большим Кемиджикетом.

– Что, есть Малый?

– Есть просто Кемиджикет. На границе с азами. Правителем в Кемиджикете сидит старший брат Барс-бега – Тогон Умай-бег.

– Умай... Умай, это что, как Бог?

– Жена Повелителя Небес Тенгир-Хана – Умай-Эне. Она Покровительница трав и воды, гор и лесов, женщин, детей.

– Особенный признак божественности?

– Тогон Умай-бег – больше не знаю.

– Есть другой предводитель, эльтебер Эрен Улуг...

– Кто не знает посла хагясов при вашем дворе? Вы дали ему чин эльтебера? Веселый был князь, князя я знаю.

– И он кемиджит?

– Скорее, булсарец... Точно, эльтебер из рода булсаров.

– И у него есть свое поселение?

– Конечно, его называют Верхний Хырхыр. Лесные края – скопище беглых с давних времен китайца Ли Лина, мелких родов и племен. У них шесть разных багов и в каждом по три-четыре мелких народа. У каждого из вождей укрепленное городище.

– Укрепленное? – удивился монах.

– Кругом вековые леса, большими деревьями легко укрепляться.

– Другие крупные поселения имеются?

– Где вьется караванная тропа – имеются и поселения. На Оби и за Обью. В степях Бар-абы и Кул-унды. На Иртыше. Прежде там жили иначе, пахали и сеяли. Как в Китае.

Монах был задумчив, готовился снова спросить и не спешил. Молчание затягивалось

– Прикажи накормить перед смертью, Сянь Мынь. Хочу кобылье молоко. Ничтожной милостью к такому, как я, гнев Неба не вызовешь, – напомнил о себе хан.

Монах заговорил не скоро, он спросил:

– Выступая на стороне Тибета, ты сходилась с другим иностранцем на нашей службе, воеводой Чан-чжи. Что скажешь о нем?

– Скажу: лучше бы нам не встречаться, – ответил узник почти без задержки.

– Отважен, отважен Чан-чжи! После воеводы Чин-дэ был самым любимым удальцом Тайцзуна. Перед ним открыва-

лись все двери дворца и некоторых покои.

– Эти тайны не дают отрубить ему голову, монах?

– Князь джунгарских просторов почти угадал.

– Властный, говорящий с живыми последним настолько бессилён, или сильнее великая из великих, которую ты зовёшь дочерью Будды? Говорят, когда ей тоскливо, она рвет на себе тонкие шелковые одежды? Почему ей бывает с такими, как ты, тоскливо? – Узник неприязненно усмехался.

– Знающий о многом, что происходит в тайных покоях, должен знать и другие тайны. Разгадай мою, и получишь не просто жизнь, новое ханство. – Впервые за время беседы надменная выдержка изменила монаху, губы его сжались, подогнувшись вовнутрь, глаза зловеще сузились, ужасный шрам на голове почти почернел.

Игра показалась слишком опасной, жалея о намеках, в отношении дворцовых тайн, узник сухо произнес:

– Ничем не могу приблизить смерть воеводы, Сянь Мынь.

– Иногда время словно замирает и возвращается вспять. – Монах взял себя в руки, но глаза его оставались острыми, выжидающими. – Скоро я увижу великую дочь Будды, она бывает сострадательной, и тогда... Подумай, Дучжи, гнев или милость Всепрощающей может вызвать пустяк.

Обнюхивая сапог, у ног монаха столбиком встала нахальная крыса.

Длинные усы ее шевелились.

Морщилась острая мордочка.

Монах оттолкнулся от камня в стене, переступив через крысу, тяжело понес тучное тело к узкому выходу.

Он ощущал недовольство собой, не сумев опять не то, что разгадать, даже приблизиться к тайне, составляющей загадку для многих.

Привыкнув к безграничной власти, оказавшейся в руках, чувствуя себя расчетливым государственным деятелем, живущим во благо единственно правильной веры в мире и Великой империи, беседой с узником он был недоволен. Шаги его, шаркающие устало, слышались долго.

* * *

Тайны власти людей друг над другом всегда опьяняют. Кое-что время все-таки раскрывает, иные уходят в неизвестность, оставляя множество домыслов. В отношении прошлого У-хоу и воеводы Чан-чжи секретов у монаха, вроде бы, не оставалось, прошлое воеводы он изучил подробно, ничем особенным оно не было привлекательным, не являлось какой-то загадкой, но иногда, не имея объяснения, вдруг навевало тревогу. И она опять родилась на совете, когда о воеводе с напором заговорил историк.

Он увидел в эту минуту лицо У-хоу, многое на нем прочитал и должен узнать, наконец, то, чего не знает никто...

4. Казнь на рассвете

Рождая новый день, утро с трудом вырывалось из тягостной ночи.

Брякали массивные ключи, проворачиваясь со скрипом в запорах квартальных решеток, раздвигались сами решетки, открывая свободу передвижения по городу. Запоздавшие посетители покидали «зеленые терема», гасли на их воротах и стрехах красные фонари. На городских стенах и в кварталах завершалась смена караулов.

Утро было мгlistым и затхлым, усиливая звуки и запахи. Особенно сильно пахло сухой пылью, кизячными дымами.

Постукивая железным наконечником посоха, брел оборванный дервиш.

Тухли ночные костры бродяг, разбредавшихся в поисках пропитания.

Оживали базары.

Блеклый рассвет, набегая с востока, растекался по увалам песчаной китайской земли, защищавших город от шальных весенних паводков; за ними в заречье двое рабов рыли глубокую яму.

Восток розовел, накрывая предгорья багрово-малиновым пологом.

Через горбатый каменный мост, словно бы вздувшийся

когда-то под напором бушевавшей под ним воды, дворцовые стражи вели закованного в железо и привязанного к телеге с тяжелыми колесами тюргешского хана Дучжи.

Колеса бились и бились о камни.

Надсадно скрипели.

Процессия вышла в песчаное поле, где слуги-рабы, торопясь, завершали работу в ямине.

Скоро яма была готова.

– Сам соскочишь или подтолкнуть? – обратился насмешливо к хану старший из конвоиров.

Дучжи замычал, затряс головой, озираясь, кого-то искал обезумевшим взглядом.

Его смерть была близко.

Всего лишь в шаге.

Но – монах! Ведь он обнадежил.

Сознание Дучжи раздвоилось: не стоило высокомерно насмехаться над Сянь Мынем, можно было попробовать миром уладить.

– Сянь Мынь... он знает? – неуверенным голосом спросил хан.

– Когда-нибудь встретишься на том свете и спросишь. Мое дело – вырыть и тебя закопать, – ответил бесчувственный страж.

– Мне надо видеть Сянь Мыня... Не хочу! Не хочу!

– Тебя не спрашивают, исполнять приказание, – распорядился конвоир.

Крепко подхватив под руки, упирающегося Дучжи опустили в яму, чтобы ханская голова оказалась выше кромки, принялись засыпать, не снимая железо.

В прибрежных раскидистых ветлах Дучжи заметил неподвижную черную карету, и надежда возродилась.

– Страж, получишь горсть золота, позови Сянь Мыня, – взмолился Дучжи, ощущая, как тело его сжимает уплотняющийся сыпучий песок. – Позови Сянь Мыня!

– Сянь Мыня никому не подчиняется, куда надо приходит сам. К тебе, степной хан, у него нет интереса.

Земля, сжавшая тело Дучжи, была тяжела – до этого хан представить не мог, насколько она убийственно тяжела. Было трудно дышать. Немели ноги. Под ее тяжестью вдавливался живот.

Но карета – зачем она здесь?

Иногда возбужденная мысль рада найти жалкую соломинку и построить надежду. Карета, только черная карета занимала теперь сознание хана.

И желанное чудо свершилось. Когда хан был засыпан по шею, от раскидистых ветел отделилась тучная фигура в монашеском одеянии.

Конечно же, это мог быть только Сянь Мынь.

Монах шел мелкими быстрыми шажками.

Склонившись над головой теряющего сознание хана, притворно заботливо спросил:

– Хану Дучжи удобно в китайской земле, земля давит

не сильно? Дучжи не устал, проделав немалый путь с железом на ногах и на шее? Ну вот, успокойся, все у тебя позади, а нам снова возвеличивать преданных и казнить непослушных.

– Зачем ты явился, Сянь Мынь? – Земля обжимала, в ней было тесно; голос хана был слаб и тих.

– Спросить, готов ли ты умирать долго.

– Монах может облегчить мои страдания? – спросил хан.

– Конечно. Страж, подойди, – приказал тихо монах, и когда ближайший солдат поспешно подбежал, придерживая на боку саблю, жестко распорядился: – Приготовься одним ударом снять эту глупую голову.

Воин опустился перед головой Дучжи на одно колено, вынул саблю, отбросил руку с ней, не спуская с монаха пустого равнодушного взгляда.

– Сянь Мынь... что хочешь...

– Чтобы ты преданно, как собака, служил Великой У-хоу.

– И тебе?

– Я сказал, что сказал.

– В той карете... В ней...

– Хан Дучжи, я ухожу.

– В карете она?

– Страж!

– Хорошо, я согласен.

– Не спеши, подумай до темноты, может быть, я вернусь.

Расставаться с жизнью подобным насильственным обра-

зом, через мучения и позор, хану не хотелось, теряя последние капли чести, он закричал:

– Вернись поскорее, Сянь Мынь, я согласен! Я пес!

– Ты пес. Ожидай.

5. Долгое ожидание шамана

Лагерь князя-старейшины, разбитый рядом с капищем над Желтой рекой, был невелик. Всего два десятка юрт, полотняных шатров, окруженных в два ряда телегами и камышовыми шалашами. День и ночь сюда прибывали из разных концов заречной Степи посланцы далеких родов и кошей, знатные воины, князьки, владельцы пастбищ – нойоны все не тюркского происхождения. Ашидэ допускал их к себе, недолго беседовал и направлял к новому хану. В склеп к шаману спуститься осмеливался не каждый, но каждому, кто желал, оказывалось достойное внимание, устраивались особые посвящения-камлания в честь предков гостя, соответствующие жертвоприношения.

Болу, в древних ритуальных одеждах, восседал в сверкающей глазурью нише над жертвенной чашей, в глубине которой было место и для Гудулу, и словно не испытывал ни чада, ни жара огня. Служения вели другие шаманы, жрецы или камы, Болу спускался вниз только когда появлялся Нишу-бег. Шел вокруг чаши впереди хана и его гостя, сотворяя нечто, способное очистить их тела и души от злых духов,

но Гудулу спустаться не разрешалось.

Закончив ритуальный путь и камлание, шаман говорил тоненьким голоском высокому гостю, показывая на верных служителей капища:

– Они долго готовились нести нашу веру в Степь. Выбери одного и доверь душу своего рода. Не обольщай почестями, другим вниманием, он раб и слуга ни тебе или мне, только Тенгиру-Оно.

Никто не осмеливался не принять его дар, гости и сам хан уходили, низко поклонившись шаману.

Как живет Болу в остальное время суток, Гудулу не знал, доступ в белую юрту ему был закрыт. Рассветы властелин духов встречал на обрыве, всматривался подолгу в Черные пески за рекой. Его не тревожили в эти минуты, не смели приближаться. Шамана будто не интересовало происходящее в шатрах князя Ашидэ и нового хана, но, что было нужно, он знал. Гудулу мог только сожалеть, что Болу не отпускает его ни на шаг, удивляя своим поведением больше и больше. Не стремясь быть вождем, Болу практически им был. Не пытаясь кем-то управлять, он мог оборвать, заставить испугаться любого напыщенного соплеменника. Самым сильным его воздействием на собеседника был пронзительный взгляд, подавляющий сознание и умиротворяющий несогласие. Этот взгляд мало кто выносил. В том числе, как не странно, и лошади, готовые подойти по его команде к вытянутой руке, даже если на ней сидит всадник. Он был, этот хмурый

шаман, похожим на сурового мыслителя древности, навсегда заключившего себя в каменном склеп, и давно уставшим рассуждать о жизни.

Заговорить с ним было непросто, и однажды на рассвете, стоя на обрыве, Гудулу сердито сказал:

– Болу, в шатре Нишу-бега решают, где встретить карательный корпус, и я бы хотел...

– Ты должен быть рядом, – бросил резко шаман, раздосадовав тутуна.

– Болу, я не могу быть на привязи, – сдерживая недовольство, возразил Гудулу.

– Можешь уйти, не держу, не умеющий подчиняться опасен.

– Шаман, я не знаю тогда, зачем я приехал! – недоуменно воскликнул тутун.

– Со мной не хочешь, с другими не сможешь. В тебе... от старой Урыш.

– Болу, я приехал сражаться, тебя трудно понять!

– Неправда, ты почти понимаешь. Кто недоволен и спрашивает – пытается думать, – чуть насмешливо произнес шаман, удивив тутуна, и тут же удивил намного значительнее, сказав: – Скоро пойдешь к Выньбегу. Или пойдешь на Орхон, где кому-то пора начать, и надо подумать о новом капище. У меня есть в песках одно место, многое можем спасти.

– А это, Болу? – воскликнул Гудулу, ни разу не подумавший о прахе предков.

– Это, тутун, скоро погибнет.

– Зачем ты лишаешь людей воли?

– Какой воли, упрямого дикаря? Такой, как твоя?.. Чтобы помочь, шаман должен видеть ваши души. Твоей я не вижу, и лишит ничего не могу.

– Каждое утро мы у реки, ты ожидаешь кого-то? – не удержавшись, спросил Гудулу в тот же день ближе к обеду, когда они снова пришли на обрыв.

– Вернулся голубь Егюя, скоро вернется Егюй... Ему сейчас трудно.

– Древнее знамя Кат-хана, оно на Орхоне? – насмелившись, спросил Гудулу. – От Урыш я не слышал о нем.

– У нее, у нее! – в досаде бросил Болу.

Вызывая зависть бездельничающего тутуна, к шатру Нишу-бега подъезжали и уезжали всадники, исполняющие указания нового хана; едва сдерживаясь, тутун спросил:

– Болу, зачем тебе воин, который не любит стоять за чужой спиной?

– Усмири необузданность тем, что стоишь за спиной бога, – властно изрек шаман.

– Болу, ты не бог!

– Дерзость – не лучший помощник, тутун. Для смертных я – наместник Неба, смирись. Есть и земной правитель над всем – хан.

Шаман пытается образумить его? Но этим и Урыш занималась постоянно, ничего не достигнув, кроме того, что он

покинул чернь. Нет, узда принуждения не для него, как они не могут понять, для чего он, тутун Гудулу, родился и ради чего оказался в Ордосе?

Гудулу промолчал, губы шамана сжались до синевы, пошевелились и вновь неожиданно разомкнулись.

– Уходи! – произнес вдруг Болу через силу. – Разбойниками! Разбойники вы! Иди, иди-ии к Нишу-бегу! – с откровенной неприязнью произнес шаман. – Иди-ии! Слушай, смотри, как обычный князь становится ханом, скорей поумнеешь. Да не завидуй той власти, которая свалилась на Нишу-бега, полезнее думай, как ее удержать.

Оборвав грубовато беседу, шаман отвернулся, как оттолкнул, скрестил на груди волосатые руки.

Преодолевая нерешительность и неловкость, в предвкушении желанной свободы, подобно быку, с которого только что сняли цепь, тутун успел сделать в направлении шатров лишь несколько шагов, как услышал надрывный вскрик шамана.

– Тутун, они вернулись! Тутун, я дождался! – не то просипел, не то простонал его голос.

Вскинув руки, Болу словно мгновенно вырос. Будь на нем одежды из перьев, надеваемые для камлания, наверное, он смог бы взлететь. Грудь его расправилась и мощно дышала. Глаза наполнились блеском.

– Где, кто, Болу? – вопрошал Гудулу, оглядываясь по сторонам на снующих повсюду воинов, слуг, прибывающих

и убывающих чиновников, местную Ордосскую знать, покидающих и наполняющих шатер нового хана.

– Видишь? – Шаман, подобно заждавшемуся полководцу, указывал рукой за реку.

Нужно было напрячься, чтобы разглядеть на горизонте две еле двигающиеся фигуры и понять без труда, что люди находятся на грани жизни и смерти.

– Поспеши, Гудулу! В камышах старые лодки бывшей речной флотилии, отправь небольшую с водой на тот берег, – говорил возбужденно Болу.

– Но кто это – через пески в самый зной!

– Тот, кого я жду с весны... Единственный, кому было под силу, я не ошибся.

– Посылая на верную смерть?

– Лодку, тутун! Будь мужчиной. Он ходил к старой колдунье за голубым стягом старой орды.

Возбуждение Болу передалось слугам и камам: они побежали с обрыва к реке, где в заросшей камышовой заводи находились остатки одной из небольших флотилий императорского гребного флота, когда-то свободно ходившего на Бохань. Здесь были высокобортные высокопалубные сооружения с различными резными надстройками, и однопалубные. На однопалубных, низко сидящих в воде, стояли огромные камнебитные орудия. Крупные лодки и суда помельче, стоящие впритык, были завалены настилами, пристенными лестницами, бревнами с окованными концами, тяжелыми кам-

нями. Не понимая в речном деле, Гудулу, не хотел быть помехой, в лодку ступить не решился и когда небольшая подтекающая плоскодонка, скоро снаряженная, выплыла из камышей и цветущей ряски на чистую воду, вернулся наверх к Болу.

Болу оставался в ожидании. Путники, движущиеся пешими, уже различались отчетливее. Одним оказался мальчик лет восьми-десяти, другим – тяжеловесный воин-тюрок в кожаном облачении, заметно страдающий отсутствием сил. Он то и дело падал, мальчик дергал его за руку, принуждая встать и снова пойти.

– Кто этот мальчик? – не без уважения к происходящему на другом берегу, спросил Гудулу. – Ты на Орхон посылал мальчишку?

– Мой лучший нукер Егюй и его сын Изель. Их было пятеро, когда они уходили с первыми днями весны, пустыня была не такой. Я знал, Егюй вернется, если будет с мальчиком. Я знал, он будет жить ради мальчика!

Преодолевая течение, лодка достигла противоположного берега. Воины, камы, слуги, покинув ее, бежали навстречу ослабевшим путникам.

И мальчик бежал им навстречу, оглядываясь в тревоге на отца, в крайнем изнеможении опустившегося на песок.

Из шатра, привлеченные шумом, возгласами у склепа-капища, в окружении старшин и старейшин вышли Нишу-бег и князь Фунянем. Они подошли к Болу, отеснив тутуна

и едва не столкнув с обрыва. Богу, заметив его растерянность, подал вполне понятный знак, где надлежит ему быть.

6. На маньчжурской дороге

Сквозь сырую тьму, разрываемую молниями, пробирался всадник с навьюченным запасным конем. Иногда на его пути возникали заставы, и стражи с факелами преграждали путь, беззастенчиво ругаясь, что кого-то носит в такую погоду. Ночь перевалила на вторую половину, но заляпанный грязью наездник о ночлеге не помышлял.

– От князя Джанги с Маньчжурской линии срочное донесение военному канцлеру! – хрипло бросил он с высоты седла, когда его снова остановили и, дерзко, вызывающе горяча утомившегося коня, теснил полусонных солдат.

– Осторожнее! Повод натяни! Натяни, говорю, повод! – кричали вяло, стражники, схватив под уздцы лошадь и бряцая саблями.

Лошади что-то не понравилось или сам всадник прищипорил ее незаметно; она вскинулась и заржала.

– Укrotи! Сдерживай, не на верблюде! – отскочив, закричали стражи.

– А ты под брюхо не лезь, она у меня боится щекотки.

– Ну-ну, пощекочу вот!

– Что за срочность? – подговорился другой страж.

– Донесение. До утра не вручу, начальники шкуру сдерут.

– Сам-то ты кто?

– Ни рыба, ни мясо. Вроде бы вестовой, мне приказали.

– Что, инородцы тоже взбесились? Нет на них мора, степные собаки, – устроив ночную перекличку, не то расспрашивали без особого любопытства, не то просто ворчали беззлобно стражи поста, всматриваясь под фонарем в проездную бумагу ночного путника.

– Я сам инородец, думай, когда распускаешь язык! – сердито выдохнул всадник. – Поднимай жердь, не то сломаю к чертям, не видишь, спешу!

– Стой! Коня... Говорю, обвалы в горах, успеешь шею свернуть! Бродяги!

– Пропускай, моя шея не конский хребет, не всякого на себе понесет. Бродяги, нашел, чем пугать!

На войне были обычные офицерские доспехи из крепкой кожи буйвола на войлоке, с наплечниками и нарукавниками, с нашитыми на груди пластинами. На голове вместо шлема была круглая кожаная шапочка без шишака, перекрещенная двумя толстыми жгутами из конского волоса – самой надежной защиты от вражеской сабли, придуманной за века. Он был похож на обычного командира действующей армии, но, находясь без вестового и слуги, вряд ли был офицером высоко ранга, и не мог рассчитывать на соответствующее внимание, о чем, конечно, знал. Не слишком грозный на вид, он был остер на язык, и дерзкая твердость слов, независимое поведение удерживали стражей от лишних грубостей.

– Какой-то тутун – чин, что ли, никак не пойму. Тутун Гудулу, говорит, от воеводы Джанги с донесением! – поеживаясь от дождя, кричали стражи в сторону камышовой фанзы-мазанки с факелом над входом.

– Что, у Джанги-тюргеша душа ушла в пятки, когда тюрки поднялись? Уж тюрки-то тюргешей больше всех ненавидят.

– Все они – бывшие степные бродяги!

Стражей тянуло незлобиво поболтать, но из мазанки последовала команда пропустить всадника, и стражи отвязали веревку, удерживающую жердь на столбцах.

Звякнув колокольчиком, жердь поднялась, путник поправил на себе сбившееся снаряжение, тронул коня.

– Будь осторожен, тутун! Разбойники любят глухие ночи и одиноких, как ты! – донеслось вслед, не произведя должного впечатления.

– Он сам, как разбойник, не видишь?

– Тюрк остается тюрком! Кто из них не разбойник?

– Он же тутун, офицер!

– Это у них по наследству – такие чины. Кто-то был знатный в роду, от него и пошло, – переговаривались караульные, привязывая строптивую жердь с камнем на коротком конце и колокольчиком на длинном.

– Эй, тутун, – закричал страж, справившись с жердью, зашлепав сандалиями по раскисшей земле, – попадешь в лапы сородичей, за то, что служишь кытаям, шкуру с живого снимут.

И засмеялся незлобно.

Любое событие во всей его противоречивости сопровождают восторг, страх и ложь – пока оно длится. Свершившись, становится достоянием истории, обрастает слухами и пересудами, и, конечно же, искажается своевольной молвой, отдающей предпочтение нарождающимся героям. Истину не сохранить: для непричастных она невесома, свидетелям и участникам – немислимо тяжела. Грозное событие – возмущение тюрок в Шаньюйском наместничестве, – лишь обрастало слухами, свидетельств почти не было никаких, но в том, как они будоражили сознание, порождая неприязнь или сочувствие, и проявлялась глубина новой драмы, разыгравшейся на китайской земле. Вслушиваясь в дождливую ночь, тутун передернул плечами: вот и здесь, на обычном дорожном посту, где несут караульную службу наемные воины, чаще совсем – не китайцы, он уловил и сострадание к своему народу, сострадание скрытное, грубое, небрежное, и легкомысленное презрение, усиливаемое разговорами о разбое. Караульных пока не тревожит собственная безопасность и вряд ли потревожит. Им все равно, почему восстали какие-то тюрки, и где разбойничают, стрелы над ними свистеть не будут.

Как воин, тутун сейчас менее всего думал о какой-то победе или поражениях соплеменников, хотя ехал, конечно, сражаться, и знал, что будет достойным. Его мысли, того самого инородца, оскорбленного пренебрежительными сло-

вами стражей и офицера турецких кровей, выдержавшего взлеты судьбы и падения, неплохо знающего жизнь, постигшего противоречивую суть бытия, сосредоточились только на прошлом. Не касаясь будущего, начинали утомлять собственным однообразием. Да, чин тутуна в его роду наследственный, достался от отца, что плохого? По крайней мере, у китайцев он ничего не просил, ничем не обязан; можно подумать, ничтожные звания, присваиваемые в китайской армии, стоят большего!.. Раздражаясь, он сердито понукал коня. Встряхнув его, лошадь перешла на трясучую рысь; мелкие, надоедливые мысли на миг исчезали, но возникло ощущение зябкого холода, покотившегося по спине.

Ближе к утру дождь утих, гроза отдалилась. Всматриваясь в очертания мрачных скал, тутун свернул с проезжей дороги на узкую каменистую тропу и скоро стучал костяной рукоятью камчи в низкую дверь, закрывавшую вход в пещеру.

– Иду! Перестань, открываю. – Голос был старческий, ворчливый, заставивший тутуна удовлетворенно хмыкнуть.

Плетенная из лозы дверь, обвязанная пучками камыша, кособоко распахнулась, заскребла обвалившимся краем по неглубокой ложбинке, на Гудулу понесло кислыми овечьими запахами, прелой кожей, застоявшейся духотой непроветриваемого помещения, вынудив брезгливо поморщиться.

Но припахивало приятным теплом остывающего костра. Оно шло понизу, обволакивая ноги и озябшие руки тутуна,

желанно коснувшись наконец-то лица, обдав особенной пещерной затхлостью. Теплые токи покоя обрадовали и навалились невероятной усталостью.

Тутун смело шагнул в темный зев пещеры, сделав несколько уверенных шагов, нащупал стену, сдернув кожаный наголовник, с облегчением навалился онемевшей спиной на камни.

Ничего не спросив, не разглядывая ввалившегося среди ночи, встав на четвереньки, хозяин старательно раздувал в кострище огонь.

Наконец огонь ожил на углях, вскочил на сухие сучья.

Старик зажег лучину, факел в стене, почти напротив нежданного посетителя, уставился слезливо, не без удивления прошепелявил:

– Бродяга без рода, тутун Гудулу! Шляешься или пристал? У воеводы Джанги, слышал, служишь?

– Да, не разбойник! Прячешь кого-то, старый пройдоха? Смотри, сабля при мне!

– Не разбойник, ладно. Совсем тутун Гудулу никакой не разбойник, шалтай-болтай, – отозвался легко старик, не обижаясь на нелестные слова, – и у меня нет никого.

– А где сыновья? – спросил воин, помедлив. – Года четыре прошло, боялся, встретимся ночью, вдруг не узнаю.

– Нет никого, подались в Ордос, – ответил старик.

– В Ордос или Шаньюй? – спросил тутун с нарастающим интересом.

– Говорю: в Ордос, значит, в Ордос, – заворчал старик.

– Почему не в Шаньюй?

Притворно покашляв, пересиливая страх, точно смиряясь, что вносит в душу ночной посетитель, выискивая в темноте съестные запасы и выкладывая на грязную тряпицу рядом с кострищем, старик жалобно воскликнул:

– Зачем тебе мои сыновья? Что снова задумал, пройдоха?

Никуда с тобой не пойдут, ни одного не пущу

Не став отвечать, тутун спросил:

– Старший-то кто, Бугутай? Не помню, Ишан, давно не встречались. Но в плечах, помнится, был что надо.

Подобное восхваление сына понравилось, Ишан, оживился:

– Бугутай! Стал пошире тебя раза в два. Потом Бельгутай и Бухат.

В то же время в словах старика прозвучало не столько гордости за сыновей, сколько предупреждения, мол, узнаешь, узнаешь, тронь только!

– Бегунок? Или уже подросток? – допрашивал властно Гудулу.

– Бухат? С коня не всякий собьет – подросток!.. Зачем – сыновья? Оставь моих сыновей, Гудулу! – воскликнул старик почти враждебно.

– Не разбойничать, успокойся. Хватит, как попало, драться – так драться, по-настоящему, – ответил тутун сердито.

– Непобедимую сотню сколотишь? – Ишан мстительно

сузил глазенки.

– Из разбойников? – чувствуя нежелание старика расстаться с сыновьями, хмуро пошутил тутун.

– Говори-ишь! Ишан и его дети разбойник! Мои сыновья не разбойники, – обидчиво бросил старик и взвизгнул: – Мои сыновья – пастухи!

– Совсем не шалили? – спросил Гудулу, внимательно наблюдая за Ишаном.

– Как не шалили, жили-то где? – по-свойски просто сказал старик.

Вроде бы удовлетворившись показной искренностью возбужденного и нервного старика, тюркский офицер немного повеселел.

– Значит, саблей махать умеют? – спросил он и хмыкнул.

– Умеют, я старый солдат, научить не могу? И саблей и луком! Старший, Бугутай, в камышинку за двадцать шагов попадет. – Старик приободрился и с усмешкой сказал: – Проверь на себе: как хватит оглоблей, собирать будет нечего!

И снова самодовольно хихикнул.

– Давно хотел спросить – если родные, – преодолевая неловкость, заговорил Гудулу. – Сыновья точно твои, или все-таки не родные? Разные вы, Ишан... Ну, костью разные, как из разных замесов.

– Ты, Гудулу, ты не перегибай! – обидчиво выкрикнул старик; будь под рукой сабля, наверное, схватился бы и за саблю. – Все бы тебе знать! Сам себе нарожай, посмотрим, что

вырастет!

– Что взбеленился, может, как раз я жду своего и похвастаться завернул! – Тутун потупил глаза.

– Поверил бы, жди-дождидайся! Сначала дождись, на чужое не пялься! Понравились! В сотню возьмет! Для тебя растил! Без матери! Я козу таскал на себе по горам. Молоко-ом... Поил и поил, росли и росли. У нас тут хватают подряд, в армию, в армию, на облаве облава! Моих уже не поймают!

– Ха-ха, молоком! – испытывая неловкость и не удовлетворенный ответом старика, Гудулу заставил себя рассмеяться. – Помчались в Ордос, лишь бы не в армию! Врешь, старый хитрец, что-то скрываешь!

– Мое дело: скрывать – не скрывать, о своем лучше думай! – сердился Ишан. – Скачешь и скачешь! То в одну сторону, то в другую. От начальника к начальнику – сколь поменял! Сотню собрать! С женами справишься. Бросил у брата в Ордосе. Три у тебя было, или больше? Колено какое-то возглавлял, потом и колено бросил. Своих сынов нет, чужих высматриваешь?

– Да вот, девки одни, нет сыновей. – Гудулу смутился.

– Ну, ладно, если нет никого, – в свою очередь смутился Ишан, не желая растревлять болезненное место гостя – речь о сыновьях среди таких, как тутун, всегда болезненная, к чему заводить? – Давай займемся костром, мокрый весь, обсушись. То не успеешь, поругаемся раньше времени, сорвешь-

ся как есть.

– Доведешь – конечно, сорвусь, – согласился беззлобно тутун.

* * *

Внешне они казались чужими, почти враждебными, несовместимыми по жизни и положению, но странным образом нужными друг другу. Старик чувствовал превосходство тутуна, незримую власть над собой, право миловать или казнить, а ночной посетитель, зная об этой власти высшего по рождению над низшим, искал простого общения, понимания, если не дружбы... как ищут дружбы с отцом. Дорога судьбы была для него трудна не сама по себе, как обычный жизненный путь и тернии, а тем, кем он на ней. Ему хотелось обычной беседы, покоя, может быть, и совета, но с людьми Гудулу было непросто, его редко кто понимал. Умея быстро сойтись, он быстро со многими расходился, не исключая собственных братьев, о которых напомнил Ишан. Его считали заносчивым, высокомерным, способным удариться вдруг в заумные рассуждения едва ли не монашеские, по своему философские и вроде бы не совсем чрезмерно расудительные, отдающие должное поведению воина на поле битв и сражений, способному вести за собой безоглядно сотню и тысячу, подчиняя дьявольской воле, которой открывалось вдруг у него на десятерых. Он всегда был заметен

в битвах, какими бы они не были, и пропадал из виду начальствующих, растворялся после сражений. Он умел, готов был драться с самим дьяволом и совсем не умел подчиняться, нести обычную службу, вытягиваться по команде, тупо, не мигая и не возражая, выслушивать бестолковые наставления жалких крикливых командиров. Всем и всегда хотелось власти над ним, беспрекословного повиновения. Всюду довлело над ним принуждение, заставляющее приспособляться, и только в стычке, среди беснования хрипящих коней, своих и чужих, в окружении вражеских воинов, жаждущих его смерти, он ощущал собственную беспощадную власть над этим жестоким миром и тем упивался. Он уходил, когда отношения с начальством портились, – снова искать себя в окружающем мире. Ушел и сейчас, чтобы найти – что может знать об этом старик!

Он был непрост даже сам для себя – тутун Гудулу.

В пути он провел уже больше недели; наверное, лучше было бы, как следует выспаться, но, избавившись от лишней одежды, сняв широкий кожаный пояс с ножом и саблей, тутун присел к разгоревшемуся костру и вяло спросил:

– Долг за собой помнишь? Пусто в курджуне, из Маньчжурии, от князя Джанги, я сорвался почти налегке. Пришлось вспомнить: Ишан много должен.

– Много, ты хозяйство помог поднять, ночлежку открыть, вином торговать, как бы детей поднимал! Ты, Гудулу ты, – покорно соглашался старик. – Только нет ничего, с одной

отарой остался. Большая была отара, поменял сынам на коней да на седла. Десяток овечек – и все. Забирай, долг положено возвращать.

– Нужны мне твои десять овечек, – пренебрежительно произнес Гудулу, продолжая обдумывать что-то свое.

Кажется, старик без труда догадывался, о чем думает гость, не обладая особенной хитростью, простодушно воскликнул:

– Меня забирай!

– Зачем?

– Буду коня водить следом, – сказал старик не очень неуверенно.

Чувствуя, что ответ гостя несколько не устраивает, через силу добавил, покоряясь почти неизбежному:

– Сынам скажу, когда увижу, чтобы верно служили. По доброй воле они за тобой не пойдут.

– О долге отца напомним – пойдут, – легко разгадывая неловкую хитрость старика, сердито взглянув из-под густых бровей, напористо отрезал тюрк.

Не всякий чужой костерок может быть добрым, но этот, у старика, был Гудулу по душе, такого хотелось давно, но сам Ишан...

– Гудулу, не делай плохо! Не делай не по-хорошему! Зачем? Какая служба под страхом? – Старик не хотел сдаваться и совсем разволновался, заморгал часто маленькими глазами, словно запорошенные песком.

– Чем я плохой? – вроде бы, удивился тутун. – Сотником начинал, тысячником справлялся, у князя Джанги помощником был, солдаты любили.

– Меня научил коней воровать...

– Дурак старый! – воскликнул в досаде Гудулу. – Тюрк не ворует, и никогда не тронет лошадь на пастбище в путах. Я коней уводил у князьков от коновязей, вольных из табунов угонял. Кто сможет; много видел?

Дальше вести разговор, вспоминая всякие мелочи, было лень. Совершив утомительный путь, он многое передумал о жизни, не раз возвращался в отдалившееся годы, подлежащее забвению. Но память неуправляема и своевольна, захочет – такое навеет, как сон или мираж, самому становится тошно. Ни покаяться, ни испросить дружеского совета... хотя бы, по поводу, куда и зачем направляется. Старик слишком глуп, ни понять, ни услышать, как следует, не сможет, а хотелось, чтобы кто-то услышал, пока он, тутун Гудулу, еще живой. Остро хотелось. Услышал и поддержал. Хотя бы ворчливо. Иногда и ворчат для того, чтобы ненавязчиво рассудительно поддержать.

– Помню, не помнить, мороз по спине, – скучно бубнил Ишан и будто бы отдалялся, тонул во мраке пещеры. – Коней не помню. Ни одного, Гудулу, у тебя на них глаз разгорался. Погони да драки, больше не помню. Ребят приучал... Бешеный ты! Какая служба с тобой? С тобой кто пойдет, головы не сносит. Не тронь сыновей, Гудулу, если встретишь!

Небом прошу...

Будто забыв о притухшем костре или на миг помутившись рассудком, старик неуклюже повалился в поклоне. И упал бы в середину неостывшего пепла, не сумеи тутун стряхнуть легкое забытье, ухватить Ишана за ворот грубой овчинной накидки, связанной на груди ремешками, отшвырнуть в сторону.

Дрема мгновенно ушла, он сердито сказал:

– В огонь-то не лезь! Умрешь и... кончено! А жизнь, Ишан! Жизнь наша зачем?.. Эх, старик...

Он спрашивал не старика, рядом с Ишаном ему стало проще спросить самого себя, и был похож на ребенка, который в трудную минуту бессознательно перекладывает ответственность за будущее на родителей, более мудрых и сильных.

Старик не то застонал утробно, не то надрывно заплакал. Словно в ухо. И начал опять отдаляться, выть тише, не столь жалобно, перестал, наконец, тревожить... Кругом ржали кони. Вставали на дыбы, готовые обрушиться и растоптать. Не понимая, что это лишь сон, тутун готов был сам закричать утробно и страшно, но в горле булькало и хрипело... Он сопротивлялся, не хотел умирать под копытами возненавидевших его лошадей, кажется, в чем-то каялся или клялся... Не то лошадям, не то Ишану. Через недолгое время тяжкий сон отступил, развернув перед ним яркое небо, Тутун поплыл в мягкую невесомую голубизну бесконечного про-

странства, но нарадоваться не успел. Его сердце сжала новая тревога, вонзилась в самое сердце, росла, пробуждая прежние не остывшие думы и не развеявшиеся сомнения.

Ветер усилился. Бил в легкие двери, шуршал в сухом камыше, свистел в дырах и щелях, предвещая большое ненастье.

Гулким эхом отдаваясь в ущельях, катились и падали в пропасть далеко в горах тяжелые камни.

7.Ветренная ночь

...Камни летели, падали с огромной высоты, рушили вечность и новую вечность рождали.

Камни прошлого тяжелы, легким былое не бывает.

Удары по скалам, раскаты грозы не слишком пугали, ветер тревожил сильнее.

Ветер, бьющий в лицо, самый буйный!

В нем сила, которой тутун Гудулу с детства хотел обладать.

Он был опытным воином, знал в совершенстве стихию сражений, умел чувствовать острую грань риска скорее инстинктом, чем разумом. Щедрая природа наделила его способностью проявлять осторожность, когда риск превышает пределы допустимого, и он интуитивно, не задумываясь и не рассуждая, подчинялся необходимому благоразумию. Так было прежде. Но прошлая жизнь умерла, теперь им вла-

дели другие стремления. Он больше не желал быть осторожным и предусмотрительным; он ехал на свою последнюю славную битву. Остальное – и навязчивое прошлое, и добрый старик, и покинувшие старика сыновья, гроза, оглушающая сознание, – уже не интересовали. В его крепком теле, согревшемся у костра и размягчившемся, не было зла, как бывает в бою, не рождалась ненависть, наполняющая силой руку, не знающую усталости. Да и зримого противника пока еще не было; лишь росла непонятная неудовлетворенность, тяготило затянувшееся ожидание неизбежной встречи с врагом.

Но чего все-таки он ожидает? Каким должен предстать этот самый заклятый противник, которому он заранее прочит победу?

Его, славного тутуна Гудулу, на этот раз непременно должны победить – сомнений нет, но жажда битвы не убывает.

Старик вскипятил в казанке воду, распарил ароматные травы, разлил по глиняным плошкам, потревожив зыбкое забытье, тронул тутуна за плечо.

– Чай из трав, Гудулу. Курта немного, больше нет ничего.

Грызая и похрустывая сушеными овечьими катышками из кислого молока, запивая сыр душистым настоем из горных трав, слушая шумливые порывы ветра за дверью, гул в ущельях, скрип деревьев и стук осыпающихся камней, они долго молчали. Легкой и простой встречи с Ишаном не по-

лучилось, тяжесть усилилась. Да и не ради старого долга заехал он к старику – нужны ему эти деньги, когда на кону сама жизнь!

Бестолковая и его, но ее может скоро не стать...

Камни летят словно пушинки, а прочно стояли.

Непоколебимо.

Многое кажется непоколебимым и вечным, пока впритык не коснется. Судьба словно глина, из которой можно слепить ночной горшок, а можно... Быть горшком полезно, но лучше уж... саблей.

Мстительной и жестокой в самом последнем сражении.

Горшки разбиваются и у сабли свой срок... Камни рассыпаются и уже никому не нужны. Никому...

Разгоняя дрему, видения прошлого – грустного и досадного – приносили смятение. Наконец он сочувственно произнес:

– Старый ты стал, Ишан, в пещере закрылся. Умирать одному всегда трудно.

Снова, сочувствуя старику, он говорил для себя, о себе, своей скорой смерти и своем одиночестве, о чем старику говорить бессмысленно.

– Какой ты: один остался Ишан! – Старик рукавом старого, вконец изношенного халата под затрапезной безрукавой-овчиной, вытирал глаза, выступивший пот на лбу. – Я давно рядом с большой дорогой, кто-то всегда завернет. Вон, шкура висит, вчера заезжали с овечкой.

Нет-нет, не о том они говорили! Совсем не о том, о чем думали! Странное сходство их душ поражало. Гудулу его почувствовал, оказавшись однажды в пещере Ишана совершенно случайно, и как привязался. С той поры, даже делая крюк, при случае всегда заезжал, ни разу не объясняя, зачем. А старик никогда не спрашивал, принимая открыто, всем сердцем. И денег, помощи никогда не просил, Гудулу сам помогал, когда мог. Словно своему отцу, мол, возьми, у меня кое-что завелось. Старик казался беззащитным, жалким, болтливым, даже легкомысленным, но тутуна тянуло к нему. Кто его знает, но ведь бывает, когда кто-то нужен тебе, а кого-то лучше никогда не видеть. Покидая самовольно Маньчжурскую армию князя Джанги, Гудулу по дороге в Ордос наметил одну остановку. Только одну. В этой пещере. Хотел поговорить с Ишаном, так и не сумев поговорить с князем. С Ишаном было важнее. Просто, хотя куда и зачем разогнался. Похоже, не получится. Одно дело убить китайца-солдата, китайского воеводу или генерала, черт бы их побрал с презрением к тюркам, и другое – когда всё сбивается в кучу. В обычном набеге понятно: того, кто ловит и догоняет, придется убить, а так... Убивать или пощадить: замахнувшись, саблю не остановишь... Об этом он собирался сказать князю, устав носить в себе желчь презрения к своим высокомерным гегемонам. Оказалось, неловко говорить, что едва ли вернется – князь ничего не поймет. А Ишан был способен понять, тутун думал всю дорогу, спешил. Ишан должен был понять

смятение души, утратившей поводыря... Души, утратившей чувства и жажду жить. Возможно, Ишан должен был попытаться отговаривать... не важно от чего... но ничего не делал и не догадывается о его тайных желаниях.

Гудулу, зная себя, боялся находиться в таком состоянии. Вырваться из власти предчувствий не удавалось. Не получалось думать о высоком предназначении судьбы, величии и обретении какого-то нового смысла жизни. В конечном счете, все упиралось в злобу, ненависть и смерть; он тяжело заворочался.

Одолев неприятную тяжесть и пересилив сомнения, надоевшие за дорогу, Гудулу неожиданно и несколько вымученно засмеялся:

– Разбойников у вас развелось, говорят, ночью ездить опасно.

О чем подумал старик? Странный намек на шкуру, висящую на шесте. Жизнь проста в кажущейся двусмысленности и многозначности, именно поэтому ее умышленно усложняют. Все, начиная с мудрецов. А что сложного, когда рядом разбойники, одним из которых скоро станет и он?

Старик подхвати его мысль, сердито заворчал:

– Тюрки всякие шастают. Полно-оо! Раньше столько не видел. Конечно, украли где-то овечку. К шаману Болу спросили дорогу, я рассказал. Ты поезжай. В Ордос поезжай, в Шаньюю поезжай! Куда хочешь, езжай. За что рассердился?

Старику ближе свое, каждому свое ближе. Наверное, он

должен был так говорить, но не с такой обидой. И не о тюрках; сплошная напасть – кругом только тюрки! Какая обида, какие долги, когда в жестокой схватке скоро сойдутся два мира! И его: Бугутай, Бельгутай и Бухат.

Ишан говорил буднично и просто:

– Брат у тебя в Ордосе, если едешь в Ордос. Как не поможет? Сам хвалился: в Маньчжурской армии на большой должности еще один брат. Все было когда-то, почему теперь нет? Отобрали? Не отдавай, когда отбирают. В Маньчжурию ехал: была молодая жена. Мунмыш была, я помню. Где Мунмыш? Снова один. Один и один, хуже волка.

Когда о Мунмыш – лучше молчать, виноват кругом, лучше молчать...

Ишан брал верх, навязывал другое течение беседы, нежелательной по целому ряду причин. Но, проявляя ни к чему не обязывающее любопытство, он как бы протягивал руку помощи: говори, Гудулу, тебе надо, не мне, старику! Нагретый воздух пещеры обволакивал тело приятными токами, рваная стариковская речь о Мунмыш и собственных детях ложилась желанно на душу. Не тревожили больше, не угнетали ни спертый вонючий дух овчарни, ни полузыбкая тьма, наполненная сизым кизячным дымом вновь разгорающегося костра. Тутун словно оттаял и в глубине его расслабленного тела, становилось теплей и теплей. Пошевелившись, довольный, что старик помнит Мунмыш, Гудулу с удовольствием и похвальбой, произнес:

– Была. Рожать сына отправил к шаманке Урыш на Орхон. Ты старый, ты много слышал о шаманке, пусть примет моего первенца.

– Слышал! Много! Смотри-ии, ведьма-колдунья она!

– Не верь, болтовня; я у нее вырос и живой. Хотя пусть и колдунья, что в этом. Я вредный, сам говоришь, как со мною иначе? Не-ет, старик, я на нее не в биде... Потом поехал в Чаньянь.

Тутуну вдруг захотелось поговорить о старухе, но старик спросил удивленно:

– Тогда почему все рвутся в Чаньянь, а ты убежал?

– Кто? Кто? Я не китаец что я там потерял, – досадуя на бесчувственного старика, возмутился сердито тутун. – Ночью за каждым кустом по трое сидят с ножами. У них, в Чаньяни, один монах – самый главный, не император. Знаешь Сянь Мыня, слышал?

– Знаю, не знаю, кто он мне? И ты за кустами сидел?

– Сидел, не сидел, так важно. А с монахом однажды столкнулся лоб в лоб, за горло схватил. Толстый, хлипкий совсем. Как навозная жижа.

– Сянь Мыня – за горло? Самого главного? – простодушно воскликнул старик.

– Ну и что; не ходи, где не надо. Как захрипит: «Что пристал среди ночи к монаху, утром зайди, работу получишь». А я: кто ж его знает, монах, так монах. Зовет – почему не сходить? Утром приперся. Евнухом чуть не стал. Ха-ха, этого

брата-служивых у них всегда не хватает, много казнят, для забавы! Каждое утро. – Тутун заразительно засмеялся. – Насильно хотели сделать кастратом. Не вырвешься. У-уу, едва не заплакал! Зачем, говорю, здорового мужика портить, раньше надо было, когда без штанов бегал. Удалось, не поддался, осталось при мне.

– Врешь! Врешь! – оживился старик. – Ты бабник, я знаю. Помнишь, здесь у меня? Мунмыш спать уложил и в кости на девку начал играть.

– Городишь ограду! Девчонка совсем, ее насильно торгош умыкнул, хвалился весь вечер. Я разозлился и в кости. Отыграл и сказал: скорей уходи. Ба-абник! Да я полгода и год без бабы могу!

– Врешь, неправда! Выиграл и прогнал, а ей-то куда, кто накормит, кроме торговца? Она вернулась, как ты уехал. И про монаха: глаза, вон, смеются. Вре-ешь, в евнухи бы! Тебе срежь зудливую шишку подчистую, без пенька, не поможет, останешься бешеным! – Старик тоненько рассмеялся.

И Гудулу рассмеялся легко и беззлобно. Чувства и дыхания в нем окончательно выровнялось, успокоилось, как он того ожидал, намечая встречу с Ишаном, мысли о предстоящем, тягостном и кровавом, исчезли. Пытаясь бодриться, он ровно сказал:

– Вру, хорошо жил у монаха, многому научился, Больше, чем в тайцзуновской школе, где тоже пришлось. Не смог у него. Умный человек, а скучно. Но палачом чуть не стал.

Иди, говорят, в палачи. Хоть на площади казней служи, хоть на мосту Вэй.

– Бешеным всюду везет, в палачи в самый раз, взглядом убьешь.

– Может, я какой-то такой... Шаманка вырастила, не забывай. Если хочешь знать, она же сквозь землю видит. – Тутун раскинулся вольно, вбирал жар костра раскрасневшимся лицом. Оно у него было сухощавое, заросшее короткой бородой, с широким подбородком. А глаза – точно глухая ночь. Ни искринки. Мрак.

– Еще и подрался! – несогласно хихикнул старик.

– С кем я подрался, ни с кем я не дрался. – Гудулу, как на холоде, несогласно пошевелил плечами.

– Не помнит! А тот приехал, на белой лошади? Который хвалился позолоченными стремями?

– Я с ним поспорил. Врешь, говорю, никакие не позолоченные?

– Подрался.

– Я вышвырнул и все, дерутся на саблях.

– Пастухи долго помнили, я был не один. Не дрался! – Старик хмыкнул, спросил: – Помнишь мое вино? Хорошее было вино, я умел! Отобрал старшина виноградник...

* * *

Глухая дождливая ночь властвовала над землею, усмиряя

страсти и гнев прошедшего дня. Тепло разморило вконец, в зное душного светлого дня Гудулу шел бесконечными виноградниками, увешанными не листьями и гроздьями, а... хвоей и шипами.

Толстые лозы вокруг вились змеями.

Змеи разевали пасти, близко, над ухом, шипели.

Гудулу вжимал непокрытую голову в плечи, кто-то голосом старой шаманки, постоянно сердито ворчавшей, говорил о маленькой, как мальчик, Мунмыш, запрещая играть.

Он терпел, не смея возразить, срывал слишком нахальных змей... похожих на желтолицых мелковатых людей, просящих пощады, брезгливо бросал под ноги, давил, наступая на шею, на голову, слушая, как они, подыхая с разъявленной пастью, шипят в изнеможении тем же шепотом злобной шаманки.

Но толстая, вовремя не замеченная, упала на шею холодом, обвиваясь, впилась, зачмокала сочно и жадно, высасывая кровь...

Обмирая, Гудулу открыл глаза.

– Должно быть, Мунмыш одна тебя не боялась? – обратился к нему старик. – Хорошая! Как маленький мальчик. Откуда, правду скажи? Из монастыря выкрал... как лошадь от коновязи?

Гудулу не знал, сколько времени длилось его новое забытие, пошевелил плечами, разгоняя заолодевшую в испуге кровь, произнес, как воскликнул, чтобы убедиться, что

проснулся, не спит, и рядом ни змей, ни старухи:

– Из монастыря, придумал! Как было, рассказал. Вместе со мной жила у шаманки. Когда от старухи уехал, тоже сбежала. Нашла в Чаньани и как прилипла, ни на шаг. На базар одного не пускала. И воин, и слуга, мальчишкой одевалась.

Ишан смотрел на него недоверчиво, на миг показался той же вечно сомневающейся старухой, и Гудулу мстительно, как бы для Урыш, произнес:

– Сама залезла в постель, я не очень хотел.

Напугался того, что сказал, попытался перевести дух, и только тогда понял, что произнес. Сон как рукой сняло, снова уснуть было страшно, и он поспешно добавил, уже для Ишана:

– Тебе хорошо, твои сыновья совсем рядом, а я снова один.

– Не пускай, зачем отпустил? Жена против мужа никогда не пойдет. У меня вот, бывало...

Перебивая продолжавшего говорить Ишана, тутун задумчиво спросил:

– Как считаешь, куда лучше: в Ордос, или сразу в Шаньюй? Где раньше начнется?

– Не знаю и знать не хочу. – Старик вдруг насупился, тяжело засопел. – Зачем твои тюрки возмутились? В Шаньюе бунтуют, в Алашани резня, дальше света не видно – совсем за песками. Говорят: до Саян. Ладно, от нас далеко, пускай, в Ордосе зачем? Одна крепость в Ордосе почти тюркская,

другая, совсем на востоке, почти китайская. Что будет в Ордосе? Не ходи в Ордос, не ходи в Шаньюй, иди в Алашань, ближе к Орхонской степи. Китайцы кругом. Тьма! Сгонят в Черную пустыню, передавят как мух. А кого не повесят: вытурят в степь за песками. Не знаю, где лучше, где хуже, но кровью закончится, уже не сдержать.

– Посмотрим, – неопределенно сказал Гудулу, нехотя слушая старика, но ему было бы хуже, перестань Ишан говорить.

– Почему осенью взбунтовались? – недоумевал Ишан. – Зима близко. Дождаться весны и напрямик на Орхон! Лет двадцать тому или больше, толком не припомню, я был в тех краях. Уйгуры разошлись... У-уу, снег по колено, солдаты на глазах умирали. Привал, присядет и все, сидит, а мертвый. Не ходи никуда, Гудулу, толку не будет.

– Ты раб, Ишан, что с тебя взять!

– Ханов у меня не бывало в самом дальнем родстве. Я солдатом в китайской армии воевал, не тутуном. Катапультной знаю, как править. По реке на лодках Тайцзуна ходил, всю жизнь бился как рыба в сети, меньше, думаешь, видел? В Бохань мы ходили. Тысяча лодок больших и малых! А потом Гаоцзун сказал: не будем ходить, зачем флот на Желтой реке, мосты будем строить. Видел мост на Желтой реке, где Вэй впадает? Я тоже строил. С камнем нырял. Привяжут на шею камень, к ноге веревку – я хорошо нырял, хороший построили мост.

– Ты по крови раб, Ишан. Сколько прожил на свете, только мост помнишь. Да камень на шее, – из теплой, уютной глупины, проваливаясь и возвращаясь, говорил, успокоившись, наконец, Гудулу, став опять добродушным.

– Я тоже служил! – продолжал возмущаться старик, задевший за живое и не умирающее. – Меня знали в лицо! Если хочешь, не этот, с У-хоу своей, толстобрюхий монах. Сам император Тайцзун! Я не раб, овечкам я раб, служу на старости.

– Овечкам ты господин. Какую захотел, ту и под нож...

Гудулу снова устал, разговор становился пустым; в седельном курджуне оставался запас крепкой рисовой водки, но идти по дождю под навес, где был поставлен конь, не хотелось; если встать – лучше совсем уехать.

– Глупый ты, глупый, Гудулу, а говоришь, умный. Сыновья мои глупые. Почему так, Гудулу: старые глупые, молодые глупые? Почему ветер такой, как взбесился? Что со всеми опять?

– Спроси умного. Если найдешь.

– В Ордос не ходи – ты меня спрашивал. Не ходи, плохо совсем, нарушился мир.

– Не так, – согласился тутун. – Война началась, Ишан.

– Какая война? Кто сказал? Придут солдаты, перевешают вас, и закончится. Сразу иди за Желтую реку, да в начальство не лезь.

– Что мне, тутуну, в простые нукеры?

– Не лезь. А хочешь, лезь, твое дело. Только зачем кричишь? Спихватился! Стань начальником, потом покрикивать будешь.

Старик тяжело засопел – он понимал больше, чем был способен сказать.

– Нет, пойду на Орхон. Соберу сотню. Или тысячу сразу. Свободы хочу большой. Как степь! Рабов будем продавать, приезжай, когда победим. – Гудулу нервно рассмеялся.

– Опустит голову на седло, спишь, не знаешь, что говоришь. Начальник! Атаманом, не больше, – говорил ворчливо старик, пошевеливая угли, и, кажется, бурчал односложно всю ночь, продолжавшую на пару с ветром завывать у камышовой двери, нещадно колотиться о камни.

Старик сердился уже только на себя, свою одинокую жизнь, непослушных детей. Он ворчал на весь мир, бестолкового тутуна, задумавшего черт знает что, и глупый тюркский бунт. На китайцев и стражей, обирающих его безжалостно. Но бросал и бросал в жаркий костер сухие корни, толстые сучья, заботясь о госте, пока не взорвался диким, испуганным криком, разбудив Гудулу.

8. Схватка в пещере

Начинался рассвет. Бесцеремонно вышибив жалкую преграду, в пещеру ворвались, разъездные китайские стражи во главе с офицером. Было их пятеро. Следом вошли китай-

ский старшина-чиновник и слуга. В руках слуги горел факел.

– Я снова приехал, старый разбойник! – напористо шел на перепуганного Ишана китайский офицер, выставив саблю. – Чей конь под навесом? За старое взялся? Где твои сыновья? Где прячешь украденных прошлой ночью овец?

– Какие овечки? Какой Ишан разбойник? Зачем тебе дети? – отстраняясь от сабли, упершейся в грудь, отступая вглубь пещеры, испуганно бормотал Ишан.

– А это что? Что это? – закричал возмущенно старшина-китаец, рукоятью плетки тыча в сырую овечью шкуру, висящую на жерди. – Вот она! Отметки не узнаю?

Напористо набежав и размашисто, со всего плеча ударив Ишана плеткой, он закричал громче:

– Где остальные: пять овечек у меня пропало за две последние ночи! Да что же такое: крадут и крадут! Кто у нас тут разбойничать начал? В армии недобор, никакими посулами не заманишь, а в чужие загоны – мы первые!

– Не крал я твоих овечек, достойнейший, – оправдывался испуганно Ишан. – Стар я ночами по чужим загонам шастать, у меня своих десять голов.

– Шкура с тавром у всех перед глазами, а он говорит, не крал! – сердился китаец, охаживая Ишана плеткой.

Ишан терпеливо сносил злые удары, почти не уклонялся, чтобы не злить старшину, лишь закрывал лицо руками.

– Где сыновья? Выросли на нашу голову. Второй год о них говорят плохое. Почему, как я требовал, не привел для от-

правки в армию? Что, тебя забирать?

– Нет сыновей давно. Давно куда-то уехали. Месяц почти, что им отец? – оправдывался Ишан.

– Не в Ордос ли подались? – строго спросил страж-офицер. – Сейчас все бродяги-разбойники, уклоняясь от армии, к тюркам бегут. – Заметив спящего тутуна, грозно просил: – Это кто развалился? Кони под навесом его? А ну, поднимайся! – Сабля китайца теперь уперлась в грудь приподнявшегося на локте, плохо соображающего спросонья Гудулу. – Ты кто? Кто такой? А-аа, кажется, тюрк! Откуда здесь? Почему на тебе форма офицера полевой Маньчжурской армии?

– Если узнаешь форму китайского офицера, тогда почему тычешь саблей? – усмехнулся Гудулу. – Я могу рассердиться.

– Ты тюрк, мне не до шуток. Обыскать! Отобрать оружие!

– Попробуй! – Перекатившись на другой бок, тутун оказался на ногах, поняв, к досаде, что стоит безоружным, поскольку пояс с кинжалом и саблей висит на крюке стены – за спиной подступивших воинов.

– Взять! – рявкнул офицер в гневе. – Отвечай, кто такой?

– Разве я не ответил? – хмыкнул непринужденно Гудулу, пытаясь унять возбуждение. – Тутун Гудулу из Маньчжурского полевого корпуса князя-воеводы Джанги проездом в Чаньань. Кто на этой дороге не знает убежище старика Ишана! В лучшие годы в этой славной пещере, ныне почему-то загаженной, был неплохой придорожный трактир. Всегда было вино, свежий барашек. Чем плохо путнику?

– Но ты один! Китайский офицер в такую дорогу один не поедет.

– У меня свой начальствующий, господин офицер, и он князь. – Насмешливо рассматривая молодое лицо китайца, Гудулу подернул плечом.

– Врет, тюркская рожа, сдадим на посту для проверки, – произнес старшина, выхватив у слуги факел, и освещая ту-туна. – Сколько шляется разных пройдох.

Обыск тутуна ничего подозрительного не выявил, дорожные документы были в порядке, озадачив офицера.

Тюрка крепко держали с двух сторон под руки. Третий воин угрожающе дышал где-то сзади, за спиной Гудулу.

– Отпустите, – неохотно, почти враждебно произнес офицер.

– А старик? Шкуру все же нашли! – заговорил торопливо старшина, передавая факел слуге и сдергивая с веревки сырую шкуру. – Вот она, господин офицер! С моей отметиной. Где остальные овечки, разбойник? – набросился он опять на Ишана.

– Не знаю я ничего, – упав на колени, Ишан заплакал. – Едут и едут! Стучат и стучат! Ишан открывает: входите, места не жалко. Заехали утром, бросили барашка, сказали: готовь, Ишан приготовил. Жил бы хуже овечек Ишан, если воровать? Ишан хорошо бы жил.

– Врет он, господин офицер, не сам, так его сыновья, – гневался старшина. – Вот где сыновья? Где, отвечай! Где

твой сыновья? – Снова пустив плеть в дело, безжалостно истязая старика, допытывался китаец.

Устав наносить удары, старшина, наконец, отступил от Ишана, но не успокоился.

– Сбежали... Конечно, сбежали. – Голос его стал хриплым от злости. – В моем поселении к восставшим сбежал каждый третий раб и почти каждый четвертый слуга. Жен побросали, детей побросали. Прикажи доставить его в поселение. Как разбойнику, отрубят руки, потом повесят.

По всему, офицер был согласен, и старшина властно распорядился:

– Где его овцы? Гоните следом.

По дряблым впалым щекам Ишана текли слезы. Ему связали за спиной руки. Стоя на коленях, Ишан кланялся в ноги офицеру, бился лбом о каменный пол пещеры. Переживая за овец больше, чем за себя, жалобно умолял не трогать, не уводить никуда, не выгонять на ветер и дождь.

Беспомощного старика подняли грубыми рывком, заставив вскрикнуть от боли в руках, повели к выходу.

– Вот она справедливость! Пропал я совсем, Гудулу, не сердись, что долг не вернул.

– Как не вернул! – громко, словно бы удивившись, произнес Гудулу, сумев сдернуть с крюка пояс и набросить на плечо так, что сабля оказалась на груди под нужной рукой. – Ты сказал: тутун, забирай десять овечек, я сказал – забираю, Ишан. Как не вернул? Эй, офицер, овцы, как видишь, мои,

ты слышал.

– Отправляйся своей дорогой, тутун. Тутун он! – сердился старшина. – У тебя и чина нашего нет, тюркский продолжаешь носить. Но здесь не Маньчжурская армия! Или связать и тебя? – Он самодовольно усмеялся.

– Свяжи, толстокожий чиновник, свяжи! – Гнев ударил тутуну в голову, глаза наполнились кровью, и он бешено закричал, наступая на старшину: – Отпусти старика – он ни в чем невиновен! Мой тюркский чин тебя задевает?

– Тутун, ищешь ссоры? – глухо спросил офицер, уже сожалея, что допустил оплошность, позволив тюрку вооружиться.

– Почему не затеять, когда воина оскорбляет невежда-чиновник? – Гудулу с вызовом усмеялся.

– У тебя больше нет важных дел, с которыми ты спешил в Чаньянь?

– Пропадет старик, пропадет мой долг, – произнес Гудулу. – Как я могу позволить себя обокрасть, господин офицер?

– Задержите тутуна! – приказал офицер. – Боюсь, старшина прав, он совсем не в Чаньянь разогнался.

Три воина, только что державшие тутуна за локти, снова смело шагнули в его сторону.

Гудулу, вытащив медленно из ножен саблю, отбросив пояс, сказал:

– Я готов, нападайте, дорожные крысы.

– Тутун Гудулу, ты поступаешь противозаконно, – сухо напомнил офицер.

– Что поделатъ, я – воин, и на меня нападают!

Ударом кулака оглушив стража, рядом с Ишаном, Гудулу быстрым движением сабли разрезал веревку на его руках и шепнул:

– Выбей факел у слуги старшины и затихни.

– Прикончат, тутун! Плюнь на Ишана, не брал я овечек, Небом клянусь, убегай!

– Поздно, Ишан, – перебрасывая саблю из одной руки в другую, ответил Гудулу.

Три выставленные острия приближались к тутуну, вынуждая пятиться к стене.

* * *

Три китайские сабли шли на него, Гудулу прижался к стене всей спиной.

Камни в стенах пещеры Ишана были острыми, упирались в лопатки.

Гудулу навалился на них всей хребтовиной, всей тяжестью тела, и получил, чего жаждал. Камни ответили болью – глаза заслезились.

Посмел бы кто-нибудь раньше...

Значит, случилось...

Сабли приближались, вспыхивая в отсветах костра капля-

ми жара на острых концах.

Гнев, который Гудулу ожидал, который будил в себе, не приходил – что ему эти три сабли! Возникло вдруг раздражение: почему они такие упрямые?

Одно обманное движение влево, быстрый уклон вправо, мгновенный выпад вперед и средняя сабля отбита. Вы еще ничего не поняли, дорожные крысы? А зря, вас предупреждали...

Замахнувшись без сожаления, тутун рубанул и самого противника.

Но медлить нельзя, темп атаки терять недопустимо. Действуй тутун. Полшага назад, больше нельзя, месте нет, решительный разворот под прикрытием собственной сабли, поднятой над головой – и один за другим два новых страшных удара.

Слуга первым понял: дела плохи. Размахивая факелом, рванулся на выход, упал, споткнувшись о безжизненного стража, и заметил злое лицо старика.

Откатившись, факел продолжал потрескивать. Ишан подхватил его.

– Бей, Гудулу! Как они надоели... эти китайцы. Бей, Гудулу, добивай... без всякой пощады!

Офицер оказался не из трусливых; в отличие от старшины он, выдернув саблю, отчаянно сам пошел на тутуна.

– Сознаюсь, в Ордос спешу, господин офицер, там скорее поймут, что такое тутун... Не надумал оставить Ишана-пас-

туха с его овцами? Не буду мешать, если надумал, можешь уйти. – Гудулу саблей показал на выбитую дверь.

– Я не трус, тутун Гудулу, служу императору.

– Высокомерие к равному несправедливо унижает, господин офицер, и требует мщения. Будь я китайцем, кто посмели бы со мною так поступать?

– Ты не китаец, ты тюрк.

Их сабли скрестились.

Старшина закричал, словно предчувствуя близкий конец – он умолял о пощаде и о чем-то просил слугу.

Слуга вскочил, пытаясь дотянуться до близко лежащей сабли стража, но Ишан упал на него, и слуга сразу обмяк.

– Ну вот, Гудулу, рука старого солдата, служившего великому Тайцзуну, кое-что помнит. С одним я справился! – Ишан, вытирая тонкий клинок о платье слуги, беззвучно смеялся и вроде бы плакал.

– Не надо овечек! Не надо, тутун! Отпусти офицера! Я не хотел тебя оскорбить – что я сказал, так сейчас кругом говорят! – просил дрожащим, повизгивающим голосом старшина.

Гудулу и офицер-страж, обменялись осторожными, легкими ударами, примеряясь друг к другу, и ходили вокруг растоптанного костра.

Серый промозглый рассвет заполнял просторную пещеру, проступавшую все отчетливей. Сбившись в кучу от страха в дальнем углу, изредка жалобно блеяли овцы пастуха Иша-

на.

Гудулу с холодным любопытством рассматривал упрямое, сосредоточенное лицо молодого китайца, и ему стало весело. Он вовсе не хотел смерти этого офицера, совсем неопытного в подобных поединках, и видел, насколько китаец слаб и беспомощен в сравнении с ним, знал, как мог убить, не утруждаясь хитроумными приемами, и мысленно сделал уже несколько раз. Но китаец был настойчив. Гудулу понимал его состояние: когда воин теряет ощущение реальности, слепо веря в свое превосходство, он сам толкает себя на верную гибель.

Гудулу опустил саблю, глухо буркнул:

– Остынь, господин офицер, я не понимаю, что мы делим. Уходи, в последний раз говорю, не спеши в покойники.

– Покойником станешь ты, хитрый тутун – произнес офицер, делая неосторожный шаг навстречу тутуну и совершая опасный, яростный выпад.

Гудулу не стал отбивать его саблю, даже не уклонился. Он сделал, что должен был; едва качнувшись, его сабля рассекла шею нападавшего.

– Говоришь, старший – Бугутай? Бугутаем зовут?

– Гудулу, Гудулу не порть сыновей! Пожалей, нет у меня другой радости.

– А то они у тебя божьи создания!.. Бугутай, Бельгутай и Бухат?

– Так, так, Гудулу. Бугутай старший.

– Запомню, судьба может столкнуть. Прощай, Ишан, оставляю запасного коня, пригодится. Буду искать твоих сыновей, крепкие парни всегда пригодятся. Несговорчивый офицер свое получил, а с китайским старшиной, старый солдат императора Тайцзуна, разбирайся на свое усмотрение. Прощай!

9. Знак на ладони

Утекло в бесконечность еще несколько дней. Солнце садилось в дымку и пыльную круговерть, поднятую сильным ветром. Тутун Гудулу стоял у массивных ворот Великой китайской Стены, во многих местах на бескрайних пространствах разрушенной временем и степняками, но здесь, в Ордосе, хорошо сохранившейся, оберегаемой, и кричал стражу на башне:

– Тутун Гудулу из Маньчжурского корпуса от князя Джанги с поручением!

Ветер летел с севера, шел над крепостной стеной, обваливался вниз мелким секущим песком, засыпая тутуну глаза, обращенные вверх.

Долго никто не отвечал, но его видели и вроде бы совещались, Гудулу это чувствовал, потом громко спросили:

– Тебе к наместнику или хватит коменданта?

Догадываясь о том, что вопрос неспроста и стражу важен ответ, Гудулу неуверенно произнес:

– Я тюрк, мне надо к шаману Болу.

– Так бы сразу говорил, гадай, кто такой, – оживились на башне.

Готовясь на первом же рубеже, которым тутуна обозначил Ордос, оказаться в крепких объятиях соплеменников, Гудулу понял, что крепость пока китайская. Получалось, что власть в таком случае в провинции в руках китайского наместника и коменданта крепости. А как же с восстанием? Вроде бы что-то не связывалось, но сердце его, не ведая страха, продолжало призывно стучать. Лишь бы скорее открыли, за воротами должно быть иначе, чем всюду. За Стеной Ордос! Тюркский Ордос, где свобода, раздвигающая границы привычного...

Какой должна быть настоящая свобода, Гудулу не имел представления, заранее пугаясь ее страстно влекущей беспредельности.

Кажется, дрожал даже конь у него под седлом, ощущая необычность происходящего.

– Разве сам князь Джанги не прибудет? – спросили два воина, бесшумно подъехавшие сзади.

Гудулу вздрогнул, не заметив, откуда они появились, сухо сказал:

– Джанги-воевода доверился мне, что нужно я объясню.

– Покажи левую руку, – потребовали, словно бы в чем-то сомневаясь.

Тутун вытянул руку, на ладони которой синей краской

был начертан знак, похожий на злобную волчью пасть.

– Ни князя-старейшины, ни шамана Болу в крепости нет, крепость остается китайской, у тебя еще несколько дней пути. Спросишь, подскажет, – сказали ему грубовато.

– Я в дороге вторую неделю, хотелось бы как следует выспаться, – произнес Гудулу, не вдаваясь в подробности заключения, измотавшего его и коня

– Не сильно спешишь, тутун, ты адресом не ошибся случайно? – с подозрительностью спросил один из подъехавших.

– Не придирайся, конь, смотри, едва стоит на ногах, – одернул его спутник в панцире и подсказал: – В поселение найдешь постоянный двор. По-дружески хочу предупредить: ночью будь повнимательней.

– Что-то может случиться? – спросил Гудулу, испытывая знобкое возбуждение.

– Дождешься, узнаешь.

Ворота перед ним отворились.

Отворились медленно, неохотно, с ржавым металлическим скрежетом.

Впереди, в несколько мер пути от Стены, лежало большое городище.

Мрачным оно показалось тутуну и настороженным.

10. Крепость и поселение

Постоялый двор оказался рядом с проезжей дорогой – тутуна показал на него первый же встречный. Это была большая двухэтажная фазенда, с просторным пыльным двором за высоким, по грудь, дувалом. Поручив слугам коня – запасного он все же оставил не без колебаний в последний момент старому Ишану, – Гудулу, отказавшись от ужина, предложенного полнотелой хозяйкой с маслянистыми глазками, вскоре вытянулся с удовольствием на грубой циновке. И тут же заснул глубоким сном, выпасться, все же не дав, разбудили тревожные крики во дворе, топот коней по улице за дувалом. Доносились далекие набатные звуки колокола. Пришлось подниматься и выяснять, что случилось.

Звуки сторожевого колокола доносились из старой китайской крепости, веками охранявшей от любого вторжения Ордосскую провинцию с западного направления, отделенную от самого Китая Великой Стеной, а от Черных песков и северной дикой Степи – могучей Желтой рекой. Монотонный глухой рокот, разбудивший тутуна, слетая с высокой башни главных ворот в Стене, уже всполошил городище.

– Что, что? Где? – кричали во дворе. – Тюрки?

– Кто бы еще! Вам говорили: взбесятся, вот и взбесились.

– Наместник? Что-то случилось с наместником? – спрашивали тревожно под навесом для лошадей.

– Причем тут наместник, дурья башка! Коней седлай скорее, вырежут солдат в крепости, возьмутся за поселение!

– Ехать-то куда – говорят, проходы в Стене перекрыты? Куда ехать – они по всему Ордосу!

– С принцессой? Что-то с нашей принцессой? Из-за нее такой переполох? Сама У-хоу выбирала князю принцессу; должна была вот-вот родить, – переговаривались озабоченно по ту сторону кривобоких, плетеных ворот местные жители и с тревогой оглядывали улицу.

В колокол били и били. Не зная, что происходит в крепости, Гудулу мгновенно, едва открыл глаза, догадался о главном: началось и в Ордосе. Испытывая желание вскочить немедленно в седло, он заставил себя успокоиться, утишить взбесившееся сердце. В жизнь врывалось не просто привычная и знакомая лавина опасностей, будоражащая дух воина, всегда дерзко жаждущего битвы. Теперь было иначе. Тяжелей, непривычней. словно зверь перед прыжком, он замер и тут же расслабился: враг близко, но еще не рядом – что ж раньше времени напрягаться, надо ждать. Ему стало легко, сомнения, путанные мысли в глубине беспокойных снов отступили. Злобный недруг обозначил себя, сейчас нападет, мир завертится в кровавом хороводе. Он, тюркский воин, сам выбрал последний свой путь, прибыл, чтобы начать... многое не понимая. Но в самом истоке изначальное понять трудно.

Ночь стонала горячей, знакомой тяжестью, ночь надрыва-

лась близкими и дальними криками. Они были полны отчаяния и вскипающей в глотках ярости, хорошо знакомых туну. Смерть безумна не только протестом, но и восторгом.

Обычно визгливо дико, на последнем пределе кричат, умирая или убивая, – больше настолько душераздирающих воплей нигде не услышать.

Подавляя волнение, одевался Гудулу не спеша. Затянув потуже ремешки кожаного нагрудника, вышел во двор, пригнувшись, ступил под низкий навес. Почувствовав хозяина, конь возбужденно заржал.

– Ну, ну! – привычно сказал Гудулу, задумчиво развязывая ременный узел повода. – Отдохнул? Хочешь пить? Сейчас, не дергайся. Не дергайся, говорю!

Не внимая увещанию хозяина, конь продолжал беспокоиться, рвался на волю; он увлекал Гудулу из-под навеса.

Течение дня заглатывает безрассудно тысячи мелочей; к вечеру от них, в большинстве, не остается следа: было и кончилось, что-то сводит концы, завершается, предвещая короткий покой и забвение, а что-то скоро снова начнется, никак пока не возбуждая. Жить ожиданием трудней, в напряжении – нетленная власть миражей, вечная святость надежды и неизбывный обман. Таких дней Гудулу прожил много, не задумываясь, для чего они выпали. Промелькнули и ладно, что напрягаться? Но этот первый день в Ордосе с самого начала наполнил его тревожным ожиданием рассвета, россыпью мятущихся мыслей, похожих на феерию горя-

чих искр. Навязчиво повторяясь смутными картинами, остро впиваясь в самое сердце, они будто бы возвращали его к чему-то недоделанному.

Но что и где осталось недоделанным?

Скрипел ворот колодца, в колоду лилась вода, конь пил ее звучно. Гудулу слушал тревожную ночь, пытаюсь понять, что с беснующимся колоколом, заведомо предвещающим НЕЧТО, и – дальше, в самом поселении.

Стройный поджарый жеребчик мотнул головой и обдал мелкими брызгами, слетевшими с влажной морды. Вернувшись под навес и взгромоздив на спину коня скрипучее деревянное седло, тутун без желания и не с первого раза – дважды не попав в стремя – поднялся в него. Попытавшись сесть поудобнее, привычно проверил, где пояс и насколько свободна сабля в ножнах. Было как надо, но... не все, не было четкой цели, куда и зачем поехать. У него не было даже слуги, чтобы приказать что-нибудь выведать. Он словно ждал пробуждения в себе чего-то необычного, что происходит не каждый день, и оставался в сомнениях.

Ждал и боялся, отчетливо понимая, что, еще шаг в сторону дувала, ворот ночлежки, и возврата к старому больше не будет.

Чувствуя, как напрягается одеревеневшее тело, выравниваются мысли, переставая метаться стаей перепуганных птиц, завидевших тень парящего коршуна, словно бы медленнее и размереннее, начинает пульсировать кровь в набу-

хающих венах, рука тутуна, словно на пробу, сама по себе тронула несколько раз саблю и накрепко стиснула рукоять.

Не отдавая полного отчета, он был готов к любой неожиданности и мысленно сделал шаг, казавшийся только что невозможным.

Рассвет после южной ночи выдалось тихим, звуки слышались громче обычного. Со стен крепости, брызгая искрами, падали факелы. Доносился зовущий звон сабель; они зло скрежетали, скользя одна по жалу другой, без труда позволяя определять, на чьей стороне преимущество и победа. Этот магический шум яростной битвы – не надо видеть, достаточно слышать и воображать!.. Падали воины, обрывая последние вскрики глухим ударом тела о землю, похожим на шлепок ладони о холку коня.

От реки, из тюркских поселений, накатывалась волна еще более дикого и страшного рева, ликующего и мстительного. В полумраке она накрыла взбудораженную китайскую часть городища, раздирая уплотнившийся душный воздух предсмертным ужасом, стонами и проклятьями.

– Что вам надо, в чем наша вина? Пощадите! За что?

– О, Небо, где мои дети? – отчаянно кричала полуодетая, растрепанная женщина на сносях, размахивая руками. – Где мои девочки? Их затоптали конями?.. Кто видел двух рыженьких толстеньких девочек?

Конь тутуна отпрянул от этой женщины, огненно-рыжей, с обнаженным толстым плечом и вывалившейся грудью. Ту-

тун укоротил повод, склонившись, успокаивающе пошлепал коня по морде.

– Но, но, стоять! – сказал он при этом строго и грустно, и снова прислушался к дальним шумам.

Конь подрагивал, перебирал тонкими ногами.

– Успеешь, успеешь! – успокаивал его тутун, пытаясь успокоиться сам, что было не просто, не понимая сути происходящего, их цель и задачи, которые он понимал, как четко спланированные, имеющие свою власть и предназначение на кого нападать и кого побеждать.

– Что вы делаете? Идите в крепость и бейтесь! Здесь дети, мирные люди! – кричали за воротами постоянного двора, вслед скачущим всадникам с обнаженными саблями и бегущими с пиками.

– Где мои девочки? Рыженькие, как я! – безумно завывала за спиной женщина, и Гудулу оглянулся невольно – настолько жутким был вой.

Но женщины, которую Гудулу готов был снова увидеть, не оказалось; у ног его жеребца билось и корчилось от боли бесформенное месиво окровавленных лохмотьев. Заметней лезли в глаза босые грязные ступни – за долгую жизнь растоптанные и бесформенные, странно шевелящиеся, как в судороге. Изредка дергаясь, цепляя одна другую, они будто бы старались спрятаться, зарыться в бесформенный ком тряпья с выпирающим животом и развалившейся на две половины грудью.

Женщина лежала в луже рядом с колодцем, из которого тутун только что доставал воду, и жалобно стонала:

– Помогите мне! Я! Я! О, Небо...

Из-под нее медленно растекалось темное пятно, напитывая сухую желтую землю...

– Вы с ума посходили, братья? – по-китайски стонали и умоляли испуганные голоса за воротами.

Над крышами летел ветер. Шуршал камышом. И был он горячим, дышал близким пожаром.

Слепо безумствующая стихия подобного бунта ужасна и непредсказуема даже для тех, кто ее возглавляет. Ярость ее не имеет границ воздержания, она беспощадна в неизбежной и одурманивающей слепоте к неповинным.

– Бей! Руби желтокожих! – перекрывая испуганную китайскую речь, дружно ликовали безумствующие тюркские глотки.

– Слава князю Ашидэ!

– Наш час пришел!

– По-мо-гиите! – корчилась, заходила в истерику женщина у колодца.

Ее обегали, через нее перепрыгивали, но никто не склонялся, не пытался помочь или услышать.

Тутун соскочил с коня, взяв женщину на руки, решительно пошел навстречу толпе, ощущая, как по запястью течет теплая, липкая кровь.

Перед ним расступились или просто шарахнулись в раз-

ные стороны. Пнув ногой камышовую дверь, Гудулу опустил женщину на циновку.

– Помогите, – сказал хриплым, чужим голосом.

В обнаженном плече женщины, рядом с набрякшей грудью в синих жилах, полной материнского молока, торчала боевая белохвостая стрела.

Никто из присутствующих не шелохнулся; десятки глаз, устремленных на воина-тюрка, были наполнены ужасом.

– Я сказал: помогите. – Гудулу нагнулся, осторожно, но сильно раздвинул края опасной раны, не обращая внимания на истерические крики женщины, наклоняя стрелу в одну сторону, потом в другую, резко вырвал ее и возвысил голос: – Кажется, она, ко всему, вот-вот родит.

И вышел стремительней, чем вошел.

Мир встал перед ним вверх тормашками.

Он был дик и ужасен в отупляющей несправедливости – Гудулу задыхался.

Добежав до коня, взлетел на одном дыхании в седло, не успев, как следует подобрать поводья, послал его тычком пяток под ребра через дувал.

Вспыхнувшие пожары высвечивали новые и новые сцены убийств. Люди просто убивали людей. Одни были счастливы, заливая пыльную землю невинной кровью, оглашая округу дружными тюркскими призывами-уранами, другие, мало понимая в происходящем, содрогались в ужасе, подставляя под сабли вскинутые к Небу руки.

Такой насильственная смерть и бывает: насильнику она упоительна до безрассудства, тому, кого убивают – страшна и безысходна.

Предупрежденный загодя под Стеной, как бы, между прочим, на всякий случай, без труда догадываясь, что цель восставших – крепость, тутун ехал среди мечущихся людей, с трудом угадывая, китайцы они или его соплеменники. Полный, казалось бы, праведного гнева, остро желая скорей влиться вместе с сородичами в штурм крепости, он еще не совсем осознавал, зачем туда едет.

Выхватить саблю и начать рубить?

Зачем и кого – эту жалкую, беспомощную толпу?

Просто китайцев, потому что они китайцы?

«И все же они – китайцы, – сердился в нем незнакомый прежде голос. – Жалкие, немощные сейчас, но всегда ненавидящие... тюрка Гудулу».

Они всегда его ненавидели, злобно презирали, пусть получают свое. Не его сабля станет сносить им головы, он пока никого не тронет; это делать людям, жившим рядом и познавшие унижение. Свершается справедливость!

«Но так же нельзя, – возмутилось что-то в ответ, – так можно убить любого!»

«А как тогда можно?» – гневался другой голос, злобный в опьяняющем недомыслии.

В дымной мгле проступили зубцы крепости, встроенной в Стену. Освещенные всполохами факелами, они показались

тутуну двигающимися в его сторону...

Из ворот вырвалась легкая конница. Едва не смяв замерзшего тутуна, верховые почти пронесли мимо, когда кто-то заметил его.

– Тюрк! – раздался гневный возглас. – Убейте паршивого тюрка!

Не успев испытать страх, тутун выдернул саблю.

И вовремя – вокруг, вздернутые поводьями, скалились лошадиные головы.

Тутун отразил удар, еще и еще. Все шло удачно: он чувствовал руку, знающую, что ей делать, саблю, уверенно врубающуюся во тьму, наполненную тенями, усилия коня, выполняющего его команды.

Конь и сам всадник пока не ощутили настоящего боевого задора, они защищались.

И никакой в нем не было злобы на тех, кто напал. Хорошо, что не он, первым... Защищаться, когда нападают, должен каждый... Ну и что, если – самообман, и он этой встречи искал?.. Ну, не этой, подобной. Ну и что, все равно лучше, чем... если бы он.

Рука тутуна, наливаясь привычной силой, стала разборчивей в движениях, и сабля, наконец, настигла первую цель. Потом снова нашла желанную жертву, с хрустом разрубив шейные позвонки.

– А-аа! – вырвалось из груди, и Гудулу привстал в стременах, полный давно не испытываемого ликования.

Конь, неожиданно споткнувшись, дико заржал, сабля ту-туна пронзила лишь пустоту и, будто в яму, потянула за собой. Сердце Гудулу обнял холод. В предчувствии неизбежного, он пытался удержаться в седле, опереться на... тьму, как опытный воин, хорошо понимая, что с ним случится через мгновение.

Рука... Он перестал ее слышать: она и сабля будто остались в глухой, вязкой ночи. В глазах потемнело: кажется, начали гаснуть один за другим ближние и дальние факелы. Не ржали, не скалились больше вокруг злобные чужие кони – в одно мгновение он ослеп и оглох.

Этот конь! Насколько случайны во всяком лихом сражении губительные мгновения, обвальный страх и непредсказуемы последствия! Как много раз прежде, смерть, лишь напугав томительным вязким ужасом, возвращала надежду! Ничего страшного вновь не случилось: конь удержался на ногах, вскинулся, испуганно фыркнув. Чужая сабля знакомо просвистела близко и мимо, но наткнулась на встречную, принявшую удар на себя и помешавшую снова взлететь над ним – Гудулу отчетливо уловил звон встречной сабли, поспежившей на помощь.

– Ты что? – Перед Гудулу возвышался длинноволосый и бородатый незнакомец, скалил белые зубы. – Кто такой?

– Тутун Гудулу. Ночью приехал. Я из Маньчжурии.

– А я с Байгала почти. Кули-Чур.

– Жакши, Кули-Чур, буду в долгу.

– Когда-нибудь!.. Ну, я поехал.

Спаситель тутуна растаял в ночи.

Неожиданно начавшись, все неожиданно и завершилось: в городище и крепости. Тюркские воины гарнизона были напористы и жестоки – так действует сплотившаяся стая, сознающая краем ослепленного сознания, что не во всем права, но вынуждена быть заодно с неудержимыми сородичами. Гудулу почувствовал оглушающую неудовлетворенность и крайнее опустошение.

«Не так! Не так! Зачем? Он так не хочет... Убивать так не хочет!» – тонко звенело в ушах.

Ни вражды, ни злобы – одуряющая холодная пустота.

«Вот и начал, чего ты так жаждала, тутун Гудулу! Вот и свершилось... непонятное что. Тебе это нужно?»

Недавно взорвавшаяся в нем неудержимая ярость медленно утихала, и ему стало вроде бы неудобно, за все, что случилось, за мысли и действия За презрения к одним и сочувствие к другим. К себе, наконец.

Побросавшие оружие, поникшие, словно преступники, китайские стражи, военачальники, административные чиновники сгонялись в подземные темницы. Они не убивали, по сути, лишь защищались, но держались как виноватые, удивляя тутуна. Но вину ли он видел на их лицах, ставших бесчувственными, хмурыми, тяжелыми? Вину или обреченность, как бывает в любой завершившейся битве, где побежденный заранее смиряется с будущей участью? Тупую вину,

давящую на живой еще разум, или вынужденное повинование горькое равнодушие, которые делают самого сильного покорным судьбе только потому, что в нем недостаточно силы?

Неприятно и жутко было видеть этих людей, уступивших более напористым и злобным; ужас тутуна был глубоким, как стыд, заставляющий покраснеть, он отвернулся.

– Они сдались! – ликовали тюрки, но что их так возбуждало, Гудулу не мог понять. Победа? Какая победа, если все знают, что в крепости тюрков-воинов было больше китайцев?

В два раза больше.

– Желтокожие сдались!

– Крепость наша! – продолжали надрываться вокруг ликующие голоса.

Не возбуждаться, не ощущать приливы восторга, подчиняясь общему порыву и собственной удали, сломавшей в каждом нечто запретное, становилось трудней и трудней. Гудулу слышал в себе эту животную потребность завывать, зарорать, загорланить, и не мог. Спазмы мешали.

Странно мешали, как иногда глазу мешает песчинка, вызывая и боль и слезу

– Сообщим Ашидэ, шаману Болу! Эй, в башне! Пора отправить старейшине добрую весть! – кричали у главных крепостных ворот, заглядываясь на высокую башню, высвеченную робким рассветом.

– Что, выпустить голубя? Выньбег приказал? – неслось с башни. – А сам он где?

– Правда! Кто видел Выньбега? Где наш Выньбег?

– Пошли к Выньбегу!

– Слава Выньбегу, тюркам-ашинам!

– Крепость наша! Слава!

О Выньбеге тутун никогда не слышал. Но поскольку о нем говорили легко и по-свойски, было ясно, что предводитель восставших пользуется большим уважением, и увидеть его не составит труда.

Плотная конная лава увлекла Гудулу под арку с распахнутыми воротами. Воины спешили, придерживая сабли, взбегали по ступеням. Поддаваясь влекущей волне, тутун покинул коня. Просторное помещение с узкими окнами в одно мгновение наполнилось гамом. Голоса, сдавленные массивными стенами, зазвучали словно бы глуше, улетали под купол.

Предводителя, оказавшегося помощником коменданта крепости, восставшие обнаружили на втором этаже в покоях наместника. Всклокоченный, лохматый Выньбег в распахнутых кожаных доспехах гневался и распекал воинов, упустивших управителя провинции.

– Бездельники! Умору в темнице вместе с китайцами! Всех в темницу! – сотрясая голосом стены, басовито шумел тюркский офицер в китайских одеждах и размахивал окровавленной саблей.

– Он здесь! Он где-то здесь, этот наместник! Он все время был в спальне. Храпел, как боров. Ищите, ищите! – кричали друг другу стражи покоев.

Новые поиски ничего не дали. Вернулись ни с чем воины, посланные во дворец наместника в самом городище.

– А комендант? Что с комендантом-китайцем? – кричали злобно.

– Нет коменданта, Выньбег первым его прикончил, а наместника вот упустили!

– У нас почти нет потерь, Выньбег! – старались задобрить вождя верные сподвижники. – Отправь князю Ашидэ и шаману Болу радостное сообщение. Красная шелковая нить на голубиной лапке обрадует старое сердце!

– — В капище ждут, не медли, Выньбег! Найдем и наместника!

– Отправьте! Отправьте! С красной и черной нитью, – отмахнулся Выньбег.

– Выньбег, ты что? Черную не стоит. Зачем князю-старейшине черная весть? Что такого случилось – наместник сбежал!

– Черную нитку – тоже. – Предводитель был неуступчив. – Никогда не учитесь скрывать свой позор. Теперь он и мой.

Начинать, до конца не осознавая, что начинаешь, во все непросто – Гудулу был в смятении. Здесь, вокруг, воины происходящее понимали иначе, чем он, знали заранее, что должны совершить, к чему он совершенно не подго-

товлен. Да, он рвался сражаться за тюркскую честь и будущее, но обычные люди, которые в крепости и поселении? Он не готов убивать подряд и без разбору... как рыжую роже-ницу на постоялом дворе.

Нужно было подойти и представиться коменданту, силь-ному, вне сомнений в себе, живущему огромной, воодушев-ляющей уверенностью в осознании своей правоты, и не мог, чего-то не хватало.

И в рабстве бывает свобода, а в каждой свободе есть раб-ство... Выбежав словно в горячке, Гудулу вскочил с маху в седло, огрел плеткой жеребчика.

11. В старом склепе

В просторный, затхлый от сырости склеп, наполненный другими резкими, перехватывающими дыхание запахами, сверху струился нежно-розоватый свет заката. Причудливо преломляясь в трещинах мрачного каменного навершия, он словно дразнил живое странными тенями прошлого, возникающими в косых лучах. Среди надгробий, грубых массив-ных плит у жертвенной чаши, потрескивающей жаром сто-рающих перьев, костей, степных трав, сидели старый князь Ашидэ и не менее старый шаман Болу. Старший жрец капи-ща, шаманы и камы выкладывали рядом с чашей человече-ский остов. Было холодно. Властвовала замогильная тиши-на, нарушаемая мягким голубиным воркованием, осторож-

ным постукиванием иссохших и выветривших полых костей.

Склеп был древней ритуальной пещерой, доступной не многим – ее тщательно охраняли суровые, молчаливые помощники, слуги шамана, стоящие истуканами в небольших гротах, нишах, узких переходах от одного вместилища склепа к другому. Полутемная, полная тлена веков, дурмана, горьковатого запаха жара в чаше, эта древняя пещера, обустроенная руками человека, словно бы усмиряла желания всякого, ступившего под ее сталактитовый свод, любое человеческое высокомерие.

Сухонький князь мирно дремал, изредка шевеля длинными реденькими усами. В нем не было ничего важного, властного, он походил на обычного старика, доживающего век без прежних желаний, равнодушного к жизни.

Шаман был одутловат лицом, но не толст, и жилист. Под грубой одеждой, увешанной перьями птиц, связками когтей, крупных зубов незнакомых зверей, в ритм тяжелого дыхания вздымался небольшой округлый животик. Казалось, он так же погружен в дрему, подобно старейшине, но веки были сомкнуты не плотно и глаза из-под них иногда давали знать о себе.

– У нас готово, властвующий над живыми, – обращаясь к шаману Болу, сказал старший служитель пещеры, завершивший работу с человеческими костями.

Шаман приподнялся, пошел вокруг плиты с выложенным скелетом, дотронувшись до белых костей, остановился.

В отверстия в куполе, шумно, встревожив князя, влетели новые голуби. Рассаживаясь на шестах над помостом, на клетках, самом помосте, находя друга или подружку, ради которых проделали немалый путь, заворковали, полные простой птичьей радостью.

Князь вскинулся, глухо спросил:

– Что, Болу, от кого?

– Важных известий нет, Ашидэ, подождем, – ответил шаман, погруженный в глубокие размышления.

– Наверху, должно быть, собрались, посылал узнать? Кого нет? Маньчжурского князя Джанги все нет?

– Потерпи. Нишу-бег и Фунянь сообщат.

– Князь Джанги не приедет, Болу, – вдруг произнес Ашидэ задумчиво, словно бы не погружался в дрему. – Зря сижу на плите Кат-хана, его дух не дает мне покоя.

Шаман усмехнулся:

– Успокойся, ты одурманился травами. В моей пещере у всех рождаются миражи.

– Как жаль, что закончилась разумная эпоха императора Тайцзуна, а дети его столь немощны! Великий был правитель, ему можно было служить... Все умирает, шаман, мне тоже пора.

– Князь, князь! Не спеши, мы только вначале!

– Сколько смертей придется снова увидеть! Болу, я всегда боялся мертвых! В своей жизни я видел горы одних только скалящихся голов.

– Ашидэ! Князь!

– Дай сказать! Болу, ты всегда перебиваешь! Почему ты такой, Болу? Я нужен тебе и не нужен!

– Успокойся и говори. – Шаман заметно смутился.

– Крепость – ворота в западные земли Ордоса. Хорошо, что Выньбег ее подчинил, Выньбег молодец, – нервно и возбужденно произнес Ашидэ. – Помнишь, как мы ее защищали, когда были молодыми, и как она пала! Страшно пала она, Болу. Живым никто не ушел. Кат-хан чуть не плакал, я видел сам. Пусть и китайцы умрут. Все, Болу! Все! – Князь походил на теряющего рассудок: глаза его дико взблескивали, нос заострился, участилось, затяжелел, дыхание.

– Ашидэ, я был мальчиком, – напомнил князю шаман.

– Помню, помню! – Князь его не слышал, говорил о понятном своем, погружаясь глубже в странную прострацию, почти задыхался. – Помощь степи не сумела вовремя одолеть эту реку, Кат-хан скрежетал зубами.

– Хану тогда многие изменили – вот в чем, пожалуй...

– Да! Да! Табгачскому хану Тайцзуну предались сразу девять наших сыгиней – ты правду сказал, Болу.

– Кто первым ушел от Иль-хана, не забыл?

– Сначала сговорились вожди прибайгальских байырку и курыкан, приманьчжурских татабов, тонгра, бугу, огузов на Селенге, и ускакали в Чаньань, бросив тумены. Следом облизывать трон умчались, как ветер, Толос-хан и племянник Иль-хана Юйше-шад. Потом потерял веру в успех моло-

дой и отважный Иннай-тегин. Как не помнить, хорошо помню. Когда шесть китайских армий подступили с разных сторон, у нас почти ничего не осталось.

– Разве все разбежались? – Шаман неприятно усмехался.

– Как – все? Конечно, не все, я понял тебя, Болу. Старейшины были, в седло никогда не садились. Бы-ыли! А хан плакал. Он плакал, Болу! – Князь был не в себе, глаза его, почти безумные, что-то искали вокруг.

– О чем ты, Ашидэ? – обеспокоено спросил шаман.

– Солдаты схватили младшую жену хана, ты забыл, Болу? Что из дома Суй, царевну! Связали – она дикая просто была, хотя китаянка... Сына ее! Как же – последний наследник старой династии! Других-то, в самом Китае уже перебили. Помнишь, Болу? А Урыш! Стояла на холме рядом с Кат-ханом, вытянув руки. Десять стрел упало к ногам, ни одна не задела... Она никогда не бросала Кат-хана. Как ведьма, помнишь? Строгая, своевольных могла хана осадить одним взглядом! У тебя такого взгляда, Болу, нет, придумываешь себя. В тебе много тайного и коварного, но я тебя никогда не боялся, Болу, как боялся Урыш!

– Урыш и... Кат-хан. Я слышал что-то, – шаман приблизился к старейшине, уставился в глаза.

– Тсс, рядом Кат-хан! – Князь испугался.

– Говори, – шепотом потребовал шаман.

– О чем? – Князь напрягся, осиливая в себе туман. – Сам догадайся, Болу. Что это даст, если что-то и было меж

ними? Давно-оо!

– Есть ли прямой наследник Кат-хана, князь? Всю жизнь ломаю голову...

– Не мучай меня, Болу! Как ты мучаешь!

– Скажи, ты знаешь...

– Спроси старую Урыш, я могу ошибаться.

– Снова Урыш! Почему всегда – Урыш?

– Возрадуй прошлое, Болу, помирись, у нее многому надо учиться. С ней по сей день с Ольхона идут – не тебе чета...

– Я создал школу жрецов, не хуже знаменитой на Ольхоне, и укрепил нашу веру! На мне прошлое и будущее тюркской Степи, почему она не хочет признать мои усилия?

– Ее имя – шаманка Урыш, а ты лишь Болу, – надсадно произнес князь.

– Я для тебя не шаман, как можешь...

– Не-ее, не шаман, какой ты шаман рядом с Урыш? Я помню... Ох, сколько я помню, Болу! Больше тюркское прошлое никто так не любит.

– Она – отшельница, отринувшая веру и преступившая... как ее признавать?

– Почему тогда признают? Говоря о шаманке, вспоминают Кат-хана, не тебя и не меня.

– Не преувеличивай, князь!

– Ты науку жрецов Ольхона не проходил, остров не посещал, а Урыш... Начиная... прошу, помириться.

– Мои люди отправились к ней в третий раз, Ашидэ, ты

забыл?

– Они ушли, ушли, Болу, я вспомнил! Она отдаст нам сильнее знамя Бумына, тюрки увидят его... А капище? Надумал переносить?

– Посмотрим, жду вестей от Егюя.

– Тише, Болу, Кат-хан где-то, слышишь? Слышишь? Не хорошо у него за спиной! – Глаза князя подернулись поволокой, закатились под выпуклый и бугристый лоб, Ашидэ захрипел.

– Князь Ашидэ, тебе совсем плохо? Слаб ты долго быть в моем склепе. Зато крепкий на язык, не говоришь, что я хочу знать. – Шаман усмехнулся и властно произнес: – Эй, кто рядом, ведите князя на воздух! Князь Ашидэ в беспокойстве, принесите моей настойки!

– У тебя, Болу... как во сне. Вижу и слышу Иль-хана... Далеко-оо! Не спеши, не спеши! Не мешай нам, Болу. Я был с ним всегда. Он меня любил больше, чем сыновей, других племянников, но почему-то не любила Урыш. Она меня не любила, Болу. Почему она меня не любила, не знаешь?

– Наверное, потому, что ты много знал. Скажи, князь, откройся! Сними камень с души! Без наследника начинать...

– Не проси, Болу! Никогда не проси, пока сам не решу...

– Князь, ты стар! Мало ли...

– У нее потом спросишь... Болу. У нее. У каждой тайны – свой хозяин и боги, не требуй у меня невозможного.

Подожли шаманы-слуги, протянули князю в маленькой

белой чашечке питью.

Одолеваемый воспоминаниями, князь отталкивал чашку.

Шаман сделал властный жест, князя стиснули, запрокинув голову, клинком разжав скрежещущие зубы, влили в рот бурую жидкость.

Подергавшись, князь успокоился. Его дыхание выровнялось, лицо наполнилось живительной теплотой.

С треском крыльев под куполом появился очередной голубь. Усевшись на шест рядом с корзиной, в которой высиживала наследство голубка, радостно заворковал.

– Кажется, дальний, – громко произнес шаман, устремляя взгляд наверх.

– Да, Болу, хохлатый издалека. Сейчас узнаем, что принес, – скрипнув ступенями, ответили сверху.

Скоро слуга спустился по лестнице с помоста.

– Из провинции Хао, шаман Болу, весть о продвижении китайцев. Сообщают: их много, но, кажется, можно удачно напасть. Сам посмотри, – подобострастно, с низким поклоном, слуга протягивал шаману принесенные голубем длинные нити с узелками разной толщины.

Их было три: черная, желтая, синяя.

– Хорошо, – пересчитав узелки, Болу бросил нити в жаровню, вяло поднялся. – Стемнело, сегодня других вестей не будет. Пошли, князь, старейшины заждались, пора выбрать хана и крепко ударить в Шаньюе. Ты обдумал решение? Может, останешься сам для начала?

– Стар я, Болу, какой из меня предводитель? Другой, другой! Я не гожусь... Знаешь, что я видел, пока долго дремал? – с трудом ворочая языком, спросил Ашидэ. – Я словно снова оказался между Иль-ханом и Тайцзуном, когда был на мосту через Вэй. У крепостной стены Чаньани я стоял рядом с Иль-ханом. Наши воины резали белую лошадь мира, а великий Тайцзун смеялся – у них никогда так не режут... Не помнишь, Болу, я вспомнил, ты мальчиком был...

– Князь, пора, нас ожидают.

– Да, Болу, чуть-чуть погоди... Я скоро, я только скажу несколько слов славному хану. Ты видишь, Болу?.. Я вижу, я его догоняю...

12. Видение старого князя

Одурманенный запахами тлеющих трав, князь забыл о старости. Он снова был молод, силен. Опьяненный и веселый, скакал в далеком своем прошлом вслед за Иль-ханом.

Вогнав гнедого коня в реку, вздыбив, и размахивая треххвостой ханской плеткой, Кат-хан задиристо закричал:

– Эй, табгачский генерал Ли Ши Минь, твой отец – узурпатор! Он силой захватил трон в Чаньани, и власть его незаконна.

– Какое тебе дело, что за власть в чужом государстве? Ты примчался это сказать, напившись вонючей браги? – появившись скоро у шелкового шатра на холме, отвечал через реч-

ку китайский полководец.

– Нет, нет, Ши Минь, я приехал огорчить тебя! Есть важная новость! Очень важная, генерал!

На Кат-хане не было привычных доспехов, жесткие непокрытые волосы шевелил резвый степной ветер, оголенная волосатая грудь его высоко вздымалась.

– Хан срочно решил перейти эту реку? – воскликнул подтянутый, как всегда, китайский предводитель, в непривычных для тюрка шелковых одеяниях, вроде бы не имеющих ни конца, ни начала.

– Через семь дней, генерал! Отметив одно важное событие, способное перевернуть мир, я разобью тебя!

– Даже так, перевернуть мир? Жду, хан! С нетерпением жду, чтобы покончить навсегда с дикой ордой. Мне приятней беседовать на языке свистящих стрел, приходи, если смелый, – отвечал с не меньшим вызовом, моложавый полководец Северной китайской армии.

– Будь в ожидании, скоро приду! Но сегодня у меня от младшей жены, принцессы дома Суй, если ты помнишь, родился крепкий малыш. Первому тебе сообщаю.

– Сын для хана – что победа в битве! Мои воины рады большой победе хана орды, поздравляю, Кат-хан! – рассмеялся Ши Минь.

– Ничего не понимаешь или делаешь вид? Кто теперь настоящий наследник трона кытаев, если отобрать его у самозванца и узурпатора? Мой маленький сын, генерал, а не твой

старший брат Ли Гянь-чень. Придется разбить твою армию, достигнуть Чаньани, восстановить справедливость! Как видишь, у меня есть серьезные основания!

– Твой сын от китайской принцессы, Иль-хан, все равно черный тюрк. Какое дело ему до трона китайских императоров?

– Не притворяйся, Ши Минь, твой отец и ты тоже не чистых кровей! Разве не так?

– Есть нечто другое, не менее важное, Иль-хан.

– Что же?

– Земля предков, дающая силу духа. Я вырос по правую руку реки, разделяющей нас, ты – по левую, и хочешь сделать сына-тюрка китайским императором, оставаясь на том берегу? Но волк никогда не станет овцой.

– Зачем становиться овцой, лучше быть государем желтого стада! Берегись, Ли Ши Минь, я предупредил. Сообщи в Чаньань о новом наследнике. Отпраздновав рождение сына, я разобью китайскую армию в блестящих латах, заставлю тебя вымыть ноги моему крепкому малышу. Только с арканом на шее увидишь ты стены Чаньани! Я приказал сплести для тебя хороший аркан. Он будет шелковый, с нитями из верблюжьей шерсти. Знающий ласку шелка на своей шее скоро узнает грубость верблюжьей шерсти... Рад моей вести, Ши Минь?

– Ты грабитель, Иль-хан! Обычный степной бродяга-грабитель, вторгающийся постоянно в наши земли. Мы будем

биться с тобой, запомни, и победим.

– Молод! Молод, генерал, так со мной говорить. Мои победы потряс али весь мир!

– Давай сразимся и выясним. — Молодой и уверенный китайский полководец Ши Минь начинал сердиться.

– Через неделю, генерал! Через неделю! Но как хочет начать генерал в шелковых одеяниях? Китаец умеет сражаться?

– Тебя беспокоят мои одежды? Хорошо, я пришлю хану верблюжью укладку шелкового белья. Тогда он вообще может не мыться, на шелке не держатся мелкие злые твари. Ты скачешь, они осыпаются и выпадают, не придется вечером долго чесаться!

– Это ответ на мое предложение? – в бешенстве вскрикнул хан. – Хочешь, начнем поединками сильных прямо сейчас? В честь рождения принца древней китайской династии, будущего повелителя Великого тюркского каганата! Посмотрим, кто станет чесаться, проиграв! Или у тебя на вонючей китайской пище передохли достойные силой?

– Между нами река, где же сразиться мужественным? На воде?

– Иди на мой берег! Иди, вас не тронут, клянусь!

– Я никогда без нужды не хожу по чужим землям, Ильхан, и тебя не пущу на свои.

– Поднялся ветер. Говори громче, плохо тебя слышу, – напрягаясь, кричал тюркский хан. – Говори, говори, китайцы

любят много путано говорить!

– В гневе слова острее стрелы, степной вождь, – отвечал ему Ши Минь, захлебываясь ветром, бьющим в лицо.

– Генерал, меня зовут к новорожденному. Не желаешь устроить поединок, приглашаю на свой достархан. Я слышал, ты любишь юных красавиц! Хочешь в наложницы тюркютку, тело которой жжет как солнце в пустыне? Приходи, подарю. Кровь закипит, только дотронься! – лихо разворачивая коня, встрепанный сильным поднявшимся ветром, кричал Катхан, а он, ханский племянник, князь Ашидэ, замирал всем сердцем от этой непринужденной ханской лихости.

...Волны легкого забытья несли старого князя над собственной памятью. Пир в тюркском стане по случаю рождения у хана столь высокородного сына длился, кажется, целую вечность. Неделю длились состязания на силу и ловкость, точность в стрельбе из луков, еще неделю продолжались грандиозные состязания борцов, на три дня растянулась небывалые скачки и всевозможные конные состязания, чего больше в Степи не бывало. Приезжали степные нойоны, лесные князьки. Появлялись с богатым сопровождением новые и новые шады, джабгу, иналы, або и тарханы. Ашидэ только входил в силу, но, как один из возможных, хотя и маловероятных преемников повелителя, находился при нем неотлучно, и правитель к нему благоволил.

– Князь Ашидэ, пора начинать, завтра хочу проверить тебя, – обратился Иль-хан именно к нему, когда тюрки свое

шумное пиршество завершили, и орда готовилась к переправе для нападения на китайскую армию. – Пойдешь с первым туменом. Покажи, мы посмотрим, на что ты способен.

Ашидэ плохо спал в ночь перед битвой, просыпаясь, ловил себя на том, что будто сражается, посылает и посылает вперед сотни, тысячи, скачет бешено, яростно рубится, проснулся в поту. Но утром запомнившегося ему навсегда 2 июля 626 года, почти пятьдесят лет назад, хан отменил переправу; по сообщению лазутчиков, генерал вызван отцом-императором в Чаньань и он, хан Орхонской орды, не желает сражаться с китайской армией в отсутствие командующего.

Князю Ашидэ, жаждущему сражения, хан сказал:

– Готовься, время у тебя есть. Приведешь на веревке Ши Миня – станешь шадом восточных маньчжурских земель – толос-шадом.

Генерал Ши Минь к своей Северной армии не вернулся. Как потом донесла степная молва, свиту его из молодых кавалерийских офицеров, которыми командовал молодой удалец-воевода Чин-дэ, один из первых будущих потом 500 удальцов славно императора Тайцзуна, попытались не пропустить в главный дворец. Ши Минь, познавший коварство кровных братьев, однажды уже пытавшихся отравить его, был готов к любому повторному проявлению низости и коварства. Да и сам срочный вызов к императору накануне важного сражения с орхонской ордой Кат Иль-хана,

даже со ссылкой на тяжелую болезнь отца, с самого начала был подозрителен.

Вынув саблю и подступив к дежурному офицеру дворцовой стражи, он громко произнес, что не потерпит подобного недоверия к тем, с кем сражается плечом к плечу за честь Китая на его северных границах, и приказал, подзвав Чиндэ:

– Рубите головы всем, кто встанет на нашем пути. Вперед! Мы прибыли по вызову самого императора, я должен встретиться с ним и преклонить колено!

Что бы ни кричал Кат Иль-хан в словесной перепалке через реку полководцу китайской армии, слава генерала Ли Ши Миня в то время была намного выше славы любого военачальника Поднебесной империи. При дворе, где он бывал совсем редко, его уважали, перед ним, воеводой, гвардейцами расступились, не оказывая сопротивления. Расставляя по ходу следования охранные посты, они достигли тронной залы. Опустившись перед пустым тронном на колено, склонив, как требовали обычаи, голову, Ши Минь, нарочито громко, будто чувствуя дыхание смерти в затылок, произнес:

– По-твоему родительскому повелению, великий отец, я прибыл, оставив армию в неизвестности. Ты выбрал не лучшее время, оторвав меня от самого важного дела в моей жизни, но я послушный сын. Что изволишь мне приказать?

– Великий император Китая сильно болен, мой младший брат и военачальник. Я, наследник трона, по просьбе импе-

ратора намерен говорить с тобой. – Из-за колонны выступил Гянь-чень; за спиной его обозначилась фигура третьего брата Лун-ки.

В руках Гянь-ченя оказался натянутый лук, стрела которого тут же сорвалась с тетивы. И снова Небо и боги уберегли жизнь Ши Миня; стрела не попала в него, она пробила доспехи стремительно выступившего вперед офицера, который упал замертво.

– Берегись, Ши Минь, вижу воинов, – прошептал воевода Чин-дэ, занимая место упавшего воина и закрывая генерала своим телом.

– Возьми на себя Лун-ки, вынимающего саблю, оставь мне Гянь-ченя, – нарочито громко приказал Ши Минь. – Кровожадные должны захлебнуться собственной кровью!

Ответные выстрелы были точны.

Зала наполнилась воинами охранной дворцовой дивизии. В руках каждый воин держал длинное копьё и тонкий клинок.

Воевода Чин-дэ подал знак, вокруг Ши Миня возникла преграда из крепких щитов. Но Ши Минь раздвинул щиты верных стражей, подняв руку, вышел вперед.

– Наследники мертвы! На колени! Из живых остался лишь я!..

* * *

– Эй, князь Ашидэ! Князь! – окликнули князя где-то совсем близко голосом шамана Болу. – Князь, ты слышишь меня?

Ашидэ слышал и вроде не слышал. Или, скорее, не хотел слышать лишний сейчас ему голос шамана. Он блаженно улыбался, слушал только себя, и то далекое, словно гул, мельтешащее в прошлом, подобно уходящей грозе, многое с ним сотворившей, было желанней. Он стремился к легким, летучим видениям, напрягаясь старым износившимся телом, рвался душой...

Они появлялись, как молнии, таяли, исчезали, обнимая тревожной тьмой прошлого, возбуждая старое тело тюркского князя-ашины.

– Потом, Болу! Оставь, – умоляюще произнес Ашидэ, продолжая скакать, догонять удаляющегося Кат Иль-хана, наткаться омолодившимся будто бы буйным сердцем на холод, жару, сильный ветер.

Ветер сильный степной рвал и терзал его грудь.

Слезы текли по усохшим щекам старого князя.

* * *

...4 сентября 626 года престарелый император Поднебесной Гао-цзу отрекся от престола, его второй сын, генерал Ши Минь, был провозглашен императором Тайцзуном.

Коронация была более чем скромной. В Чаньани не ста-

ли дожидаться, как принято в таких случаях, высоких послов дальних государств, с которыми Китай поддерживал тесную связь, на церемонии присутствовали представители правящего семейства Тибета, непальский царевич, уйгурские, маньчжурские, корейские джабгу и князья, какие-то иналы и ваны, и он, Ашидэ, посланник Иль-хана. В Хорезм, Согдиану, Мавераннахр, по всему Шелковому пути, вплоть до Персии и Византии, было отправлено короткое послание нового императора, которое сообщало: «Мои земли пустынные. Низложение династии Суй, отравлявшей жизнь народу, стоило моему отцу две трети населения. Во многих областях только кустарники и травы, поля в запустении. На моих землях властвует огромная орда тюркского хана. Но так будет не долго – говорю вам я, император Великой державы Среднего Востока Тайцзун. Скоро Степь покорится моей разумной власти. Придет в усмирение разноликая Маньчжурия и Когурио. Изгнав персов, я дам процветание Мавераннахру и Согду – они навсегда китайские. Мой царственный голос услышат лесные племена Хагяса на Улуг-Кеме, в Саянах, правители народа десяти стрел за рекой Иртыш. Для бесстрашных купцов, способных преодолевать пространства, у меня скопилось немало чудесного шелка...»

– Тебя хан послал в насмешку, как дерзкий вызов? Что повелел осмотреть в первую очередь? – когда дошла очередь беседы с посланником орды, спросил юного князя молодой император, не скрывая своего разочарования. – Хочешь вы-

знать силы Чаньани? Где лучше преодолеть реку Вэй, когда Иль-хан попытается осадить мою столицу, а я прикажу сжечь мосты? Говори, помогу выполнить твое поручение.

– Буду смотреть, увижу, – сказал Ашидэ, преодолевая и силу тяжелого взгляда Тайцзуна и собственное смущение.

Ответ князя понравился, китайский владыка ободряюще произнес:

– Когда Степь и орда покорятся, я дам князю Ашидэ возможность освоить военное искусство в наших школах. Я их скоро открою, следуя в морали заветам Кон-фу, а в освоении ловкости – боевому искусству древности. Ты слышал о Кон-фу, мудреце веков? Нам лучше жить в мире, – заговорил Тайцзун, не дожидаясь ответа. – Передай хану Степи: у меня сейчас много иных забот, кроме войны с ордой. Прекратите набеги, перестаньте жить грабежами, и мы станем хорошими соседями. Или мне придется... и я сумею. Я дам столько шелка, золота, злаков, оружия, сколько увезут навьюченные лошади, прибывшие с тобой. Чтобы увезти больше, ты и твои нукеры, князь, могут покинуть мою столицу пешком. Если согласен, выберешь из моих богатств сам.

Ашидэ согласился, понимая, что Тайцзуну лучше не перечить. Чаньань они оставляли, ведя коней в поводу. Шли ровно три недели, сопровождаемые молчаливым китайским отрядом. Путь их лежал по разоренным последним набегом провинциям, где все еще пахло смрадом и тленом. Встречались горы полуистлевших трупов, которые не вызывают со-

чувствий во время битв, и омерзительно противоестественны под тихим ласковым небом. У послов Кат-хана было много золота, шелка, оружия, но мало пищи. Гнилой, пахнувшей кровью была вода в колодцах. Спутники Ашидэ, сам князь страдали, но так же страдали китайские воины, терпеливо выпроваживающие тюркских послов за пределы своих земель. Путь по разоренной, умершей на долгие годы земле, был придуман Тайцзуном не зря, он остался в памяти князя Ашидэ как вечное назидание...

...Известия из Китая приходили удивительные. Покончив с традиционным обрядом восшествия на престол, молодой император приказал уменьшить пышность дворцов, удалил из столицы престарелого родителя и его приближенных, не сделав исключения ни одному состарившемуся и безвольному полководцу, способному лишь наушничать, помиловал, на удивление многим, большую часть молодых сторонников братьев. Повелев явиться в тронную залу, он коротко произнес: «Служите, мы вас услышим».

«Да! Да! – совсем не по-императорски, как доносила молва, воскликнул Тайцзун, когда приглашенным на его короткую речь было разрешено удалиться. – Мне доложили, что во дворце содержится на положении наложниц более двадцати тысяч славных девушек, вывезенных из провинций. А во всей столице, в больших и малых гаремах, почти сорок! Не много для вас? Двум из каждых трех... Нет, четверем из пяти найдите достойных мужей, верните обратно, где взя-

ли. Их дело не вашу плоть усладить, рожать мне воинов».

Вести в степи летят вместе с ветром.

– Пора, – высчитав что-то свое, объявил однажды орде Иль-хан, – идем на Чаньянь, посадим моего сына на трон великих императоров.

Ашидэ-князь, так и не получив обещанного тумена, остался при ставке обычным офицером-порученцем и князем, каких было много, оказывал хану мелкие услуги, ожидая, как ожидают в надежде, собственную удачу, способную возгореться на Небе яркой звездой.

Наконец, 23 сентября, опустошив немало уездов, провинций, воеводств и наместничеств, сжигая мирные города и поселения, тюркская стопятидесятитысячная орда, ужасая Китай тележным скрипом, лаем голодных и полудиких собак, ржанием утомленных коней, лязгом оружия и визгом чумазых ребятишек, переполнявших табор, подступила к Чаньяни.

«Генерал Ши Минь, мне пришлось спешить за тобой, чтобы закончить давно начатое между нами противостояние. Полный уважения к тому, как ты поступил с братьями-изменниками, жду на мосту через Вэй. Преклони голову перед моим сыном – наследником трона Поднебесной, и я забуду обиды», – такое послание хана князь Ашидэ доставил к воротам Чаньяни.

Молодой император принял вызов Иль-хана. Приказав воеводам Чин-дэ и Чан-чжи вывести за крепостные стены,

расположить часть армии вдоль берега, он бесстрашно спустился с десятком лучших воинов-удальцов на единственный мост, оставленный не сожженным.

– Подойди ближе, Кат-хан, я спрошу, – окликнул он громко, смутив тюрок открытой отвагой и вызывающим поступком.

Ашидэ стоял рядом с Иль-ханом и видел, каким азартом зажглись глаза его предводителя. Тронув коня, Кат-хан приблизился к мосту, но ступить на мост не решился.

– О чем хочешь спросить хана Великой Степи, генерал? – произнес он с вызовом.

Произошло невероятное, многие свидетели онемели. Молодой император спешил, перешел мост, смело взяв под уздцы коня Иль-хана, весело произнес:

– Опять сильный ветер, не стоит кричать через реку. Кат-хан, прежде чем вынуть сабли, начнем, как уже начинали. Слово иногда решает больше битвы, ты не согласен?

– Говорят, иногда случалось, – не покидая седла, с кривой холодной усмешкой ответил вождь Степи.

– Зачем пришел, Кат-хан? Не сумев победить армию генерала Ли Ши Миня, как победишь армию императора Тайцзуна?

– О какой победе говорит молодой генерал! – воскликнул Кат-хан. – Мы готовились и не сразились, потому что генерал покинул свою армию, но я настиг тебя в Чаньани.

– Кат-хан, ты пришел умереть, потому что пришел на чу-

жую землю.

– Срединная земля известна мудрецами, но много ли у нее достойных воинов, как у меня? Ли Ши Минь, у тебя нет надежды.

– Ты бродяга, Кат-хан! Твои воины за рекой – толпы и толпы степных дикарей, с алчной слюной на губах, взирающих на Чаньань! Они кровожадные волки.

– Ты прав, благодарю, тюрки на все времена – волки Степи! Слава тюркам-ашинам! – Хан вскинул саблю, и побережье огласилось ликующим ревом. – Слушай голос Степи, Ши Минь! Волки-ашины нападают, чтобы досыта напиться чужой крови, и уходят. Нет им преграды – свободным, как ветер, сотрясающим пространства подобно грому! Я прав, дети Волчицы-Праматери?

Тысячи голосов были хану дружным ответом.

– Слышишь, Ши Минь! Они не уйдут, не испив твоей крови!

– В последний раз стены Чаньани оказались доступны тюркскому глазу, Кат-хан! Но вы пришли, я на вашем пути, нападайте, сражусь один на один, с кем успею. Кто хочет первым? – Тайцзун вынул свой длинный меч, опустил острием на бревна моста.

Ашидэ помнит мгновение из прошлого, когда ему самому хотелось сойтись грудь в грудь с императором-безумцем. И еще было много желающих. Они кричали, хватались за сабли, угрожающе натягивали луки, и несколько стрел

упало к ногам императора. На мосту появилась шаманка Урыш, подала знак, и хан к ней склонился. Выслушав ее сердитый шепот, он властным возгласом перекрыл гомон сподвижников:

– Наша жрица сказала: вожди подобны богам, им поклоняются. Разве сражение началось? Кто посмел?

Стан тюрок затих, устыдившись бесчестных желаний.

– Мост через Вэй один. Как быть, Кат-хан, если я на мосту? – спросил император.

– Да сохранится над ним твоя власть, мы одолеем реку на бурдюках, – ответил весело хан.

– О-оо, уйдет много времени! По законам Великого Гостеприимства Земель ты мой гость, пока не вынул саблю, – воскликнул Тайцзун. – Не хочешь немного развлечься? Когда-то, приглашая на достархан, хан предлагал горячую, как раскаленная степь, наложницу, а я хочу показать подобных белым облакам на божественном Небе красавиц Чаньани, прекрасных в искуснейших танцах!

– Я не против, но что молодой китайский правитель покажешь, приказав уменьшить гаремы?

– Хан, разве наши приказания исполняются незамедлительно, как бы хотелось? Пусть танцуют из тех, кто остался!

– Ты хитер и не глуп, – развеселился Иль-хан.

– Император великой державы не может быть глупцом. Жаль, степные вожди не могут этого уяснить...

Странное представление на мосту, с одной стороны кото-

рого восседали хан орды и его военачальники, а с другой – император, сановники, генералы, длилось почти до вечера. Устав, Кат Иль-хан поднялся первым.

– Довольно, Тайцзун, – впервые назвал его новым императорским именем Кат Иль-хан. – Сражение ночью – плохое сражение, хочу отдохнуть, танцы славных наложниц я досмотрю в тронной зале Чаньани.

– Всех, кто сейчас на мосту, я дарю хану Степи, не скучай этой ночью. Мне жаль, Кат Иль-хан, что нас разделяет вражда, – оказался щедрым китайский правитель. – Я занял трон ради мира, и я его дам народам тысячелетней державы. Тебе же дам кучу золота, тысячу кусков шелка, пять тысяч отборных коней.

– Завтра я получу больше, – усмехнулся Кат-хан.

– Чаньань укрепилась. Хочешь, отправь юного Ашидэ, он уже многое видел.

Тайцзун оказался прав: ворваться в столицу Поднебесной империи без камнебитных машин, которыми тюрки не обладали, было непросто, с тех пор, как юный князь Ашидэ был в ней в последний раз, стены ее стали только надежней. Над всеми четырьмя воротами и на каждой угловой башне в огромных котлах кипела смола. Повсюду лежали крупные валуны, готовые обрушиться на головы атакующих.

Ашидэ трудно было рассказывать о крепости, он опасался ханского гнева, но выручила шаманка.

– Возьми, что предлагают, забейте с китайским царем

на мосту белого коня, – проворчала Урыш, всю ночь и весь день занимавшаяся камланием. – Слушая, как содрогается под ногами земля, я слышу, что твоему младшему сыну от суйской принцессы не пришло время занять трон желтой державы.

– Возьми золото, Кат-хан, с Тайцзуном неплохо поладить, – подчиняясь властному взгляду шаманки, дружно произнесли старейшины родов и старшины, заставив хана нахмуриться.

– Он отважен, Кат-хан, – издали и будто бы отрезвляюще заговорила опять шаманка. – Ты покинешь мост через Вэй в лучах славы, отправив новость в полет до самого Согда. Или спешишь умереть?

Голос шаманки был суров и, как голос судьбы, предсказывал неприятности, вселяя в Кат-хана сомнения. Глаза ее были как жаркие угли, они прожигали.

Пределы власти женщины над мужчиной никому неизвестны, но власть шаманки Урыш над отчаянным тюркским ханом была ощутима.

– Я чувствую силу молодого императора, он слишком умен и расчетлив, – сказал в задумчивости утром Кат-хан, и согласился на мир, который не мог быть долгим...

* * *

– Пойдем, князь, сколько можно сидеть, нас заждались. Нишу-бег будет ханом – я так скажу, – ворчал Болу, наблю-

дая, как слуги приводят в чувство тюркского князя-ашину.

У жизни есть три измерения: прошлое, настоящее, будущее. Угасающий разум князя оказался в прошлом. Преодолевая сильные спазмы в горле, он устало шептал:

– Пусть будет Нишу-бег... Собрав шесть армий, он обуздал тюркскую Степь, всех соседей – хитрый Тайцзун. Он дал почти пятьдесят лет покоя, и вот – начинается снова.

– Ты что-то сказал, Ашидэ? – спросил Болу.

– Да живут вечно дети Волчицы-Праматери! – воскликнул старый князь, давно утративший смысл своей княжеской жизни.

13. Пристрастный допрос

Посреди просторного княжеского шатра с плотно закрытым верхним проемом пылал костер, обложенный камнями. Люди, сидящие вокруг в полумраке, напряженно следили за действиями старого шамана, вдруг замершего в сосредоточенности. Болу смотрел в огонь, и лицо его, изношенное, морщинистое, будто покрывалось тенями и вновь озарялось красными бликами пламени.

Оторвав от колен, шаман распростер над огнем руки с длинными шевелящими пальцами, сильно подув, приглушая бушующее пламя.

Узловатые, скрюченные пальцы шамана, готовые схватить раскаленные угли, на глазах у всех покраснели, было видно,

как по ним струится кровь.

– Кровь чище совести! Кровь очищает разум! Смотрите на кровь шамана! Такая у вас? Не жалко пролить? Не покинет смелость в последний момент? Смерть или победа! – говорил властно, как из забытья, повелитель старых степных духов.

– Смерть или победа! – дружно подхватили в темных углах шатра слуги, жрецы, другие шаманы.

– Смерть или победа! – чуть помедлив, разноголосо подхватили нойоны и старшины, плотно сидящие у огня в несколько полукругов, среди которых воинов почти не было.

Словно властный увещатель огня, Болу-шаман шире раздвинул пальцы, и пламя, издавая треск, осыпая людей искрами, взлетело под купол, рождая вскрики и удивление.

Слуги и жрецы вбрасывали в огонь связки мелких птиц, пучки крупных перьев, мгновенно сворачивающихся и сгорающих, вносили блюда с мясом жертвенных жеребят.

– Готовы поклясться над прахом Кат-хана? Помните! – Шумно вздохнув, шаман медленно убрал распростертые над костром руки, опустил снова себе на колени. – Огонь созрел, коснулся лица каждого. Жертвенные жеребята белых кобыл дали вам силу! Созрел ли ты говорить с достойными сынами Ашина-тюрка, старейший принц Ашидэ? – произнес шаман, несмотря на мощную фигуру, имеющий тонкий, почти женский голос.

– Все собрались, сколько нас, Нишу-бег? – спросил старый князь, пошевелившись на кошме, поворачивая седую голову в сторону ближайшего соседа с правой руки, и тут же повернул голову влево: – Готово ли у тебя к нашему священодейству, князь Фунянь?

Внешне Нишу-бег был покрепче Фуняня, постарше, скуластей, держался надменно, посматривал властно. Князь Фунянь с длинной острой бородкой отличался аскетизмом; он смотрел по сторонам зорким взглядом и внимательно следил за шаманом. Оба они были хорошо известны среди тюрков и достаточно почитаемы, оба когда-то властвовали над сородичами, подобно князю Ашидэ, но утратили власть раньше старейшины. Фунянь имел поддержку соплеменников Алашани, Нишу-бег – здесь, в Ордосе. На стороне ордосского князя было явное преимущество, и вел он себя, не сомневаясь, что ханом изберут непременно его. Последнее, решающее слово было за князем-старейшиной, только потом наступал черед шамана, напряжение в юрте Болу ощутимо возрастало.

– Шаманы не боятся ни воды, ни огня! Молний и ветра! Зноя и холода! Закаляя тело, они закаляют праведный дух – таким должны быть все тюрки! – призывно провозглашал где-то вверху жрец-управитель.

Круг раздвинулся вдвое. Усилиями слуг, его заполнили мерцающими углями. На угли взошли три крепких жреца, начав камлание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.